

РОБЕРТ БАЛАКШИН



## ВЕНЧАНИЕ

ПОВЕСТЬ

*Дорогой подруге юности В. Ш.*

*Violetta (a s p a n s i o n e):  
Ach, quell amor, guell amor che palpito<sup>1</sup>.*

*Грех юности моя, и неведения  
моего не помани.*

Псалом 24.7

### 1

Когда показались окраины В., волнение так сдавило грудь, что Виктор остановил машину и вышел. Слезы умиления застелили глаза. Вспомнился кадр из “Лютты в Веймаре”, где юный Гете, прижимая к груди томик Гомера, выбегает из дома... И сейчас, в это раннее июньское утро, в хощинах так же, белея, дымился туман. Поднимаясь под лучами солнца, он становился кисейно-прозрачным, и деревья, и здание школы, и стайка ласущихся на лугу овец виделись сквозь эту волшебную кисею сказочной идиллической картинкой. Все было напоено светом. Дружный хор щебетающих в придорожных кустах и деревьях птиц словно пел о радости

---

<sup>1</sup> Виолетта (страстно): “Ах, та любовь, та любовь всесильная”. Д. Верди, “Травиата”, 1-е действие (итал.).

---

**БАЛАКШИН** Роберт Александрович родился в 1944 году в деревне Коротыгино Грязовецкого района Вологодской области. Окончил Вологодский строительный техникум. Служил в армии. Работал в управлении культуры облисполкома, бетонщиком, землекопом, каменщиком, дворником. Автор нескольких книг прозы, переводов и стихов. Член Союза писателей России с 1985 года. Живет в Вологде.

жизни, о молодости и любви. Казалось, пропало страшное для человеческой жизни расстояние в два с лишним десятилетия и сейчас случится чудо: с книжкой Гете, купленной в рижском “Букинисте”, появится сержант Виктор Огнев, 23-летний “старик”, которому осталось пять месяцев до дембеля. Он побежил по “прешпекту”, как он любил называть эту тополевую аллею. Где-то здесь его ждет Лайма. Как дивно найти ее, схоронившуюся за тенистым кустом, как горяч и волнующ поцелуй смеющихся милых губ под сенью развесистого, осыпанного мягкими зелеными коробочками созревающих плодов орешника...

Закончив солдатскую службу, молодым парнем покинул он этот край, сперва часто вспоминал его, потом все реже, реже, но сегодня, когда два часа назад колеса его “Нивы” пересекли рубеж России и Латвии и за окошком машины замелькали сквозные сосняки на золотистых от восходящего солнца пригорках, когда на улицах спящих городов взгляд понимающе схватывал, казалось бы, напрочь позабытые слова: *veikals, ednīca, viesnīca*<sup>1</sup>, когда сам воздух, дышавший смолистой хвоей и влажной терпкостью недалекого моря, опажнул лицо — сердце замерло и обнялось густым, щемящим чувством встречи с оставленными, забытыми, но бесконечно дорогими местами.

Виктор тронул машину. Глаза вновь и вновь находили пищу для воспоминаний, сладко будораживших память. Вот сад — сюда они бежали за яблоками. В то лето на яблоки был такой урожай, что их печальным и лакомым ароматом пропахли и казарма, и караулка. Три вещмешка яблок он снес матери Лаймы. Она наварила варенья и заправила двадцатилитровую бутылку вина. Надеялась на свадьбу. Вот тепличное хозяйство колонии — сюда они совершали налеты за огурцами. Вот клуб — сколько здесь просмотрено фильмов. “Лотта”, “Полночный поцелуй”, “Большие надежды”. В клуб рота отправлялась строем, а обратно в строю топали “салаги” да второй год. “Старики” шушукались с девушками у клуба или брели сзади по мосткам, покуривая и обсуждая свои преддембельские проблемы. Ротный смотрел на это сквозь пальцы, лишь бы на вечерней поверке все были “как штык”.

А вот и ее дом. Среди неказистых серых домишек возвышался выложенный из гранитных блоков, с глубокими швами рустовки старинный особняк (видимо, в старину здесь было чье-то поместье). Н и в к а к и х м е ч т а х он и вообразить не мог, что когда-нибудь снова увидит его. Сколько раз он прибежал сюда, свистел под окнами песни, бросал букеты полевых цветов вон в то угловое окно. Господи, как печально и сладко ноет сердце!

Времени — половина пятого. Идти туда еще рано.

Из сумки на заднем сиденье Виктор извлек термос с куриным бульоном, пакет с бутербродами. Наливая в чашку горячий, аппетитно пахнущий бульон, мизинцем левой руки нажал на щиток клавишу манитона. Поились грустные звуки прелюдии, их сменила оживленная, искристая музыка бала. Грациозно вступила веселая скрипочка и до нежнейших нюансов знакомый голос запел:

— *Flora, amici, la notte che resta*<sup>2</sup>.

Виктор в изнеможении откинулся на спинку сиденья. Веки наливались теплой тяготой сна. Давненько, давненько не учинял он таких подвигов. Столько времени за баранкой. Но самочувствие вполне сносное. Конечно, в висках жмет, давит. Это возрастное. Уже в полусне Виктор завинтил пробку термоса, а надеть крышку не сумел, сон поглотил его, и он заснул, прижав к животу железный, похожий на артиллерийский снаряд, термос.

Где-то в непостижимой выси звонко реял отважный тенор: “*E ch'io bramo immortal come quella*”<sup>3</sup>, а за пультом чертил по воздуху дирижерской палочкой трогательные письма седой маэстро с сурово подстриженными усами.

<sup>1</sup> Магазин, столовая, гостиница (латышск.).

<sup>2</sup> Виолетта: “Флора, подруга, уж ночь миновала” (итал.).

<sup>3</sup> Альфред: “Вам желаю бессмертья богини” (итал.).

Спал Виктор недолго. За это время весенним ручейком блеснула любовь Альфреда и Виолетты, и когда он проснулся, *rovera donna*<sup>1</sup> предсмертным, тающим говорком прощалась со всем, что было ей дорого в жизни.

Солнце поднялось высоко, по улице идут редкие прохожие. Виктор лозил их взгляды, мечтая увидеть знакомое лицо. Увы, никто здесь не помнил его.

Узким проходом меж сараев он вышел на задворки. Там, в густой траве, наполовину вросший в землю, кой-где покрытый замшевыми лоскутками зеленовато-серого мха, лежал мельничный жернов, стянутый двумя лентами железных обручей. Пусть все забыли его, но этот древний старец помнит, как они с Лаймой сживали здесь по ночам и он учил ее находить созвездия. А затем экзаменовал ученицу. За неверный ответ — штраф. Поцелуй. Иногда, смеясь, Лайма ошибалась чуть не на каждом созвездии. А однажды, рассердившись на что-то, без запинки отбарабанила их все до единого, ожгла его пощечиной и умчалась домой.

Прерванное сном ощущение исчезнувшего времени снова завладевало душой. Двор, поросший мелкой ромашкой, был тот же, откуда-то знакомо наносило клевером, а остановившись на крыльце, вглядываясь в манящий сумрак коридора, оттягивая миг наслаждения, когда он шагнет туда, он подумал, что, может быть, даже воздух в коридоре прежний. Эта удивительная, неповторимая возможность находиться в дне сегодняшнем и одновременно в мире четвертьвековой давности пьянила и пронимала его до слез.

Любовно скользя ладонью по вылощенным от бесчисленных прикосновений каменным перилам, он взошел на второй этаж и размеренно, даже как бы торжественно, ударил в дверь. Вроде бы в те годы дверь была обита другим материалом, если была обита вообще. Эта мелочь забылась.

Ему не ответили. Виктор постучал еще, притиснулся ухом к обивке. Ти-ши-на.

Неужто она не живет здесь? А телеграмма? Нового адреса в ней не указано. Где ж ее искать? Через адресный стол? А если она замужем?

Положение вырисовывалось глупейшее. Отложив все дела, сорваться с места, выдержать шестнадцатичасовую дику изнурительную гонку, притормаживая лишь на пять минут, чтоб перекусить да обойти вокруг машины, прогоняя дремоту; за Псковом схватиться с ментом-гаишником, который ночью от нечего делать пустился проверять, как у него работают “дворники”, и только десятидолларовая бумажка охледила его рваческий пыл; передумать тысячу дум, переволноваться, воскресить в памяти отгоревшую жизнь, воспарить душой и в итоге — очутиться перед запертой квартирой.

Проклятая бабскую бестолковость, себя за доверчивость и неуместную в его годы сентиментальность, Виктор в последний раз ожесточенно треснул кулаком в дверь. И еще раз, и еще!

За спиной его, в квартире напротив, тишком отлипло дверное полотнище. В щелке блестят чьи-то изучающие его глаза.

— Скажите... — Виктор подался туда, а щель вдруг распахнулась на всю ширину двери, и худенькая женщина в застиранном, линиям халатике, с тощей луковкой волос на темени, с восторженным, тихим воплем: “Витенька!” — бросилась ему на шею.

“Надежда! — ослобнен Виктор. — Лаймина подруга. Но старая-то какая”.

— Надя — ты? — он вежливо снял ее руки со своей шеи, отступил на шаг.

— Кто же еще? Я, конечно, я. — Надя сцепила руки на груди, глаза ее лучились таким счастьем, будто он приехал к ней. — Витюша, родненький! — Надя явно жаждала еще раз обнять его, но робела. — Говорила я ей, что приедешь ты, а она не верила. Заходи же, заходи. Не разувайся, иди так. Не побрезгуй, что сюда зову, в комнате детки спят.

<sup>1</sup> Бедная женщина (итал.).

Захламленной прихожей, перешагнув через валявшийся самокат, оступившись на детском ботинке, Виктор прошел на кухню — грязноватый закуток, куда они, бывало, забегали с парнями дернуть по стакашку домашнего яблочного винца. Надюха в те годы была боевая девка.

— Садись, Витенька, присаживайся. — Надя обмахнула тряпкой табуретку. — Какой ты стал-то! Представительный, важный. — Надя смотрела на него с улыбкой любования и гордости. — Встретила б на улице, не признала.

— Не сочиняй, какой я важный. — Виктор стал у холодильника, слыша его мелкую трясучую дрожь. — А ты все здесь и ютишься?

— Тут, Витя, тут и горюю в этой норе. С самого рождения. Уж такая я несчастливая. — Надя принялась жалобиться на жите-бытье, как ее обманули на работе с квартирой, как мытарится она с мужем-пьянчугой, как болит сердце о непутевом хулигане-сыне, опять залетевшем в тюрьму. Одна утеха — дочь да ее дети. Сама-то дочка живет в Лиепае, муж моряк, внучата приезжают на лето гостить к бабушке.

Виктор терпеливо слушал малоинтересный и в общем-то ненужный ему Надин рассказ, грустно думая, что она, в сущности, не изменилась, осталась такой же тараторкой и неряхой, все раскидано где ни попало.

— Прости, пожалуйста, — улучив момент, перебил он ее, — а Лайма здесь не живет? Я телеграмму от нее получил. Что с ней, где она?

Надя поперхнулась, заморгала глазами, словно ждала этого вопроса и отдаляла его своим рассказом.

— Здесь, здесь и живет. Так всю жизнь и колотимся вместе. Сын ее, Вилис, квартиру трехкомнатную получил, с лоджией, улучшенной планировки, и невысоко — четвертый этаж, звал ее к себе жить, а она отказалась. — Надя внезапно сморщилась, дотронулась до плеча Виктора и заплакала. — Рак у нее, Витя. Последняя стадия. В больнице она, Лаймочка наша.

— Кто ж тогда телеграмму послал?

— Я. Во сне она тебя увидела, плачет, когда я проведать ее пришла: глянуть бы на Витю одним глазком и умереть. Я и сказала о телеграмме.

— Так она, значит, замужем? — спросил Виктор с ревнивым чувством, хотя положение из глупейшего превращалось в кошмарное: это ж придется встречаться с ее мужем. Ну, бабы!

— Нет, нет, — возразила Надя, — замужем она не была, хотя и врач, который ее лечит, и директор школы сватались к ней, даже из Риги приезжали. Ты ведь знаешь, какая она была. А Вилис, — Надя посмотрела в окно, откашлялась, — он же сын твой.

Холодильник, переключаясь, затрясся как в припадке. Виктор вздрогнул и пережил давнее ощущение детства: Надя удвинулась куда-то вдаль, он видел ее, как в перевернутый бинокль.

— Мой сын? — сказал он посторонним глухим голосом. — Ты смеешься надо мной.

Крошечная Надя обиженно всплеснула кукольными ручками и пропищала от шумевшей ветровым пламенем газовой плиты:

— Так ты честно не знал, что Лайма беременной была, когда ты домой уехал? А мы думали...

Виктор остановил Надю, доставшую из кухонного столика чашки, сахарницу.

— Не нужно этого. Иди за мной.

— Витенька, чашечку чая с дороги, одну, — Надя догнала его в прихожей.

— Будет еще время, и не на одну.

В машине Виктор швырял в новенький клейкий пакет с эмблемой фирмы две банки сгущенного кофе, литровый пакет кипрского виноградного сока, пачки печенья, апельсины, блок жевательной резинки, вложил коробку шоколадных конфет.

— Внукам твоим к чаю. — Он подал ей пакет. — Больница далеко отсюда?

— Рано ведь, Витя, не пустят тебя.

— Это уж моя забота. Говори — улица, этаж, палата.

Виктор предчувствовал, что едет в В. не на радость. Так и оказалось. Но — сын! Вот уж поистине не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Эта новость так ошеломила его, что на какое-то время совершенно заслонила собой думы о болезни Лаймы.

Он страстно желал иметь сына, а жена рожала одних дочерей. Родила трех и забастовала: хватит. Не разводиться же с ней из-за этого. Дочери выросли — грех жаловаться — домовитые, благонравные, и мечта о сыне нашла замену во внуках, хотя порой все же мечталось (уже безнадежно) о преемнике, продолжателе рода.

А сын, оказывается, есть! Взрослый, выросший вдалеке от него сын. Почему так случилось? Кто виноват? Он сам, Лайма, комендант на станции, родители, тесть с тещей? Сейчас поздно искать виновника, похоже, виноваты были все, но странно думать — вся жизнь его могла сложиться иначе.

В вестибюле больницы плечистый верзила баскетбольного роста, в белом халате до колен и в шлепанцах на босу ногу старательно тер тряпкой на палке-валявке и без того глянцево блестящий линолеумный пол.

— Посещения больных с одиннадцати часов, читайте распорядок дня, — не поворачиваясь, бабьим гнусавым голоском сообщил он.

— Я по телеграмме приехал. Издалека.

— Разрешение есть? — работник прислонил палку к стене, обернулся, вытирая руки о полу халата, и предстал пожилой женщиной с грубым мужиковатым лицом.

— От кого? — спросил Виктор, дивясь на это чудо природы.

— От Яниса Арвидовича, главврача нашего.

— Понимаете, по телеграмме я. Только что приехал.

— Телеграмму.

Виктор подал согнутую вдвое бумажную полоску. Санитарка так долго изучала ее, что Виктор засомневался: грамотная ли она? Телеграмма была коротенькая, всего шесть слов. “Умоляю. Приезжай хоть на час. Лайма”.

— К Лаймочке, значит, — завершив процесс чтения, подытожила санитарка, и нечто похожее на сочувствие утеплilo ее взгляд. — Уж не тебя ли она ждет? Виктором звать?

Виктор, улыбнувшись, кивнул головой.

— Не улыбайся, — не одобрила санитарка, — ты в больнице. Паспорт.

Удерживая рвавшуюся наружу улыбку, Виктор готов был поклясться, что этот Сабонис в юбке, сверяя фотокарточку с оригиналом, принюхивается к нему.

— Проходи, — возвращая паспорт, сказала санитарка. — Смотри, не выдай, что я тебя пропустила, а то главврач мне голову оторвет.

“Если дотянется до нее”, — подумал Виктор, улыбаясь.

Шагая больничным коридором, Виктор поражался царившей вокруг чистоте. Нечто подобное он видел в кино, а в жизни разве в школе сержантов, где старшина не слезал с суточного наряда. Но школе было далеко до больницы. Здесь все светилось чистотой — и вымытые окна, и свежепокрашенные полы, и белые двери. За этой неправдоподобной чистотой забывался даже больничный запах — тот мутный удушливый коктейль из хлорки, лекарств и нездоровья. В простенках к полу вились из плетеных, изящных корзинок кудрявые гирлянды зелени, а на стене коридора в два и три яруса, как в галерее, висели картины. Преимущественно репродукции из “Огонька”. Одни пейзажи. Французские импрессионисты, латыши, немцы, есть и наши — Васильев, Левитан, Поленов.

Игровое вестибюльное настроение испарилось, и ни чистота, ни картины не могли заглушить нараставшую в душе тревогу. Может, вернуться? Позже прийти.

Унимая захлотившее в груди сердце, Виктор приблизился к нужной двери. Сейчас он увидит Лайму. С годами она, конечно, изменилась...

В одноместной палате на койке лежала и, очевидно, спала изможденная, остриженная как новобранец, совсем седая, с провалившимися щеками старуха. Несомненно, он попал не туда. С подкатившей к горлу тошнотой (ох, как тут пахнет!) Виктор попятился, чтобы в незакрытую дверь юркнуть

назад в коридор, но веки лежавшей затрепетали, и во взгляде открывшихся, огромных от худобы лица глаз Виктор прочел родное выражение, над которым были бессильны и болезнь, и годы.

Губы Лаймы искривились в жалкой улыбке, грудь поднялась на вздохе, веки снова смежились, и светлые ниточки слез пролегли к вискам.

Виктор присел на край койки, с каждым мгновением узнавая Лайму, бережно взял лежавшую поверх одеяла, обтянутую сухой, желтой кожей костлявую руку с черно-лиловыми пятнами гематом на кисти (от внутренних уколов), поднес к губам.

— Здравствуй.

Она, не открывая глаз, чуть качнула головой.

— Давно приехал? — прошептала она.

— Только что. Сперва в Муйжу<sup>1</sup> завернул. Надя сказала, где ты.

— Бы-ыстро. — Лайма посмотрела на него усталым, но со сбывшейся радостью взглядом, подняла руку, провела по его щеке. — Самолетом, поездом?

— На машине. Самолеты от нас в Ригу теперь не летают, а поездом я бы только послезавтра приехал.

— Долго же ехать. Притомился, наверно?

— А что делать. Зато теперь я здесь.

Они помолчали, неотрывно разглядывая друг друга.

— Нагнись. — Лайма гладила его затылок, шею. Виктор видел ее лоб, милую родинку на левом ухе и глаза, жадно скользившие по его лицу.

— Седой стал.

“Поседеешь с вами”, — чуть было дежурно не отшутился Виктор. Он положил ладонь возле ее головы, подмигнул дружески:

— Оба мы с тобой постарели, Разинечка моя.

Лайма открыла рот, словно в приступе удушья, вцепилась в его ладонь и бурно заплакала, целуя ладонь и прижимая ее к мокрой от слез щеке.

— Не плачь, не плачь. Успокойся, — растерянно говорил Виктор, не ожидавший, что давнее, шутливое, только что припомнившееся ему прозвище так взволнует Лайму.

— Ничего, — сглотнув рыдания, сказала она. — Сейчас пройдет. Господи, всю жизнь... всю жизнь, — она заплакала еще неудержимей. — Не сердись, мужчины не любят женских слез.

— Что ты, разве я могу сердиться на тебя. — Виктор сжал ее руку, а сам думал: как же спросить о сыне?

— Жене своей что ты сказал? — промокнув слезы полотенцем, содрогаясь от последних, почти беззвучных рыданий, спросила Лайма. — Как она отпустила тебя? Она ж у тебя строга.

Виктор уголком полотенца остановил катившуюся по ее щеке слезинку.

— Я овдовел пять лет назад.

— Тоже болезнь?

— Несчастный случай... гололед...

— А я вот, Витенька, болею.

— Ничего, даст Бог, поправишься.

Лайма обреченно повела головой.

В палату кто-то зашел. Виктор оглянулся и вскочил с койки. Халат упал с плеч, он, не глядя, словил его. Хорошо, что Надя сказала ему, он сразу узнал вошедшего. Сын! Бог мой, какой красавец! Высокий, статный, с шапкой светло-русых волос. Похож на Лайму, но что-то неуловимое в лице, в поставе головы, в уверенном развороте широких плеч напоминало сержанта Огнева.

— Lab dien<sup>2</sup>, — приветливо, со скромной улыбкой первой встречи поздоровался молодой человек, как вдруг выражение замешательства пробежало по его лицу. Он понял, кто стоит перед ним. — Здравствуйте, — осекшимся голосом проговорил он, подавая загорелую крепкую ладонь.

— Здравствуй, здравствуй, — счастливым взглядом впиваясь в его лицо, словно ощупывая глазами каждую его черточку, сказал Виктор, отвечая на рукопожатие.

— Вилис, — сказала Лайма, — это Виктор Сергеевич.

<sup>1</sup> Muiža — предместье, усадьба (латышск.).

<sup>2</sup> Добрый день (латышск.).

— Я догадался, мама.

Виктор уступил сыну место на койке, тот отказался: “Сидите, сидите”, — подсел к матери на табуретке. Лайма, прикрыв глаза, отдыхала, вложив свою ладонь в ладонь Виктора и пошевеливая в ней пальцами. Отец и сын исподволь постреливали друг на друга взглядами. Да, Вилис больше похож на мать, это часто бывает. Ее брови, разрез глаз, что-то в рисунке губ и, конечно, в манере говорить. А форма головы, шея, руки — мои. Осанкой же, статью он уродился в деда. Но ведь это же м о й сын! Да-а, ради этого стоило мчаться сюда, даже рискуя свернуть голову в каком-нибудь придорожном кювете или переругаться со всеми гаишниками, хотя б они были понатыканы через километр.

— Сколько погостишь? — спросила Лайма.

Вопрос ее застал Виктора врасплох. Он рассчитывал побыть здесь самое большее дня два-три.

— Поживем — увидим, — ответил он.

— Поживи несколько денечков. Не уезжай уж, дождись.

— Чего — дождись? — не понял Виктор. — Ты что? Не смей думать про это!

— Ах, Витечка. Это так близко, как ты и подумать не можешь.

— Не надо, мам. Виктор Сергеевич, — Вилис посмотрел на него не таясь, — правильно сказал. Не думай, не гвори.

— Хорошо, хорошо. Не буду, родные мои.

#### 4

Лайма страдала от неизлечимой болезни, и вместе с нею страдали близкие ей люди.

Старшая сестра ее, жившая в Даугавпилсе и сама часто хворавшая, приезжала навестить ее по выходным дням, но не каждую неделю. Обязанности сиделки при больной матери довелось исполнять Вилису. Весь отпуск он провел у ее койки. Можно бы брать дни за свой счет, но начальство их давало неохотно, а уйти с работы нельзя — найди-ка ее потом в таком городишке, как В. Семья у Вилиса по нынешним меркам большая — сыну пять лет, и полгода назад жена родила двойню: мальчика и девочку. Ночью Вилис дежурил у матери, а днем крутился на автофургоне по городским улицам (он работал шофером на хлебокомбинате) и вымотался за эти месяцы до крайности.

Уяснив положение дел, Виктор сказал, что, конечно, Вилису необходимо отдохнуть и в первую очередь как следует отоспаться, ведь с машиной шутки плохи, так и до беды недолго. Он подменит его.

Вилис ушел на работу. Лайма задремала. А Виктор видел лицо сына, слышал его голос и не мог насытиться этими картинками. И ведь что получается, теперь у него стало семеро внучат!

В палату заходила санитарка, прибралась, умыла Лайму из таза. За ней впрорхнула тоненькая, хрупкая, как стрекоза, медсестра, поставила Лайме градусник, украдкой осведомилась у Виктора, кто он? Дальний родственник. “Разрешение у вас есть?” “Конечно”, — соврал он.

В коридоре то возникал, то пропадал приближающийся шум.

— Утренний обход, утренний обход, — зашебетала вбежавшая в палату медсестра, поправила подушку у Лаймы, выровняла край одеяла. — Тетя Лайма, проснитесь. Ой, что сейчас будет! — она вскинула пальчики к белоснежной кружевной наколке на воздушно взбитых волосах, подбежала к двери и отскочила от нее.

В палату походкой штангиста, идущего к решающему подходу (плечи округлены, грудь вперед), вошел сурово насупившийся крепыш в белом, в обтяжку, халате, в докторской шапочке, со стетоскопом на шее. Стекла очков в золотой оправе воинственно поблескивали. Видимо, он и есть здешний старшина — ревнитель стерильной чистоты и главный ценитель живописи.

Увидев Виктора, врач озадаченно вскинул левую бровь, что-то отрывисто спросил по-латышски. Виктор разобрал только первое слово: “Sveiki”.

---

<sup>1</sup> Здравствуйте (латышск.).

- Простите, я не знаю латышского языка, — начал он. — Я приехал...  
— Почему посторонний человек в палате? — грозно спросил врач.  
— Ему разрешили, — робко сказала тоненькая сестра.  
— Кто? — гремел врач.  
— Он сказал, что вы.  
— Какая беспардонная ложь! — возмутился врач. — Да кто вы такой?

Если бы Виктор не провинился ложью, он бы заметил, что так громко говорить в палате больного не принято, но, не желая усугубить свой проступок дерзостью, сказал покорно:

— Я приехал из России. По телеграмме. — И, как санитарке в вестибюле, подал телеграмму врачу.

Румянец, вспыхнувший на щеках врача, отозвался розовыми пятнами на его лбу, подбородке, шее. Натягивая трубчатые, прозрачные жилы стетоскопа, он не моргая смотрел на Виктора. В его взгляде читалось любопытство и какое-то потрясение.

— А-ах, так это вы, — наконец вымолвил врач, хотя Виктор видел его первый раз в жизни.

Впрочем, врач тут же овладел собой и назидательно, как бы читая нотацию сосунку-школьнику, указал:

— Лгать нехорошо. Некультурно.

— Я понимаю, — согласился Виктор.

— Ничего вы не понимаете, — вкладывая в эти слова недоступный пониманию Виктора подтекст, в той же громовой тональности продолжил врач: — Итак. Кто разрешил вам пройти сюда?

— Никто. Я сам прошел.

— Что значит — сам! Что значит — сам? Вы у себя в России распоряжайтесь как хотите, а здесь мы вам этого больше не позволим. У нас к больным можно проходить с разрешения врача. Очистите помещение.

— Yanis, — простонала Лайма, приподнялась на локтях над подушкой.

— Да что вы, — вскрикнул Виктор, — я мчусь, позабыв все, к (язык чуть не ляпнул “умирающей”, но редактор-мозг исправил)... больной женщине, а вы меня выгоняете.

Врач покосился на Лайму и, катая желваки на челюстях, бросил через плечо:

— Вы превратно истолковали мои слова. Никто вас не выгоняет, но для посещения больной необходимо получить разрешение.

Виктор вытянул руки, как по стойке “смирно”, и сказал с учтивым достоинством:

— Господин главврач (крепыш презрительно глянул на него), — я приехал издалека, получив от Лаймы Радзини известие о ее болезни. Прошу вашего разрешения навещать ее.

— Разрешаю. На время утреннего обхода и лечебных процедур предлагаю оставить медицинское учреждение.

## 5

Телеграмма, адресованная на старую квартиру, где Виктор давно уже не жил, не один час плутала по городу, прежде чем разыскала его.

Как и большинство людей его возраста, Виктор Огнев жил отлаженной жизнью, когда все главные решения уже приняты и человек бредет по жизненной тропе, как путник, не имеющий права на остановку. Путник поднимался на пригорки, сходил в низинки, однако большей частью шел и шел по равнине привычных, схожих, как близнецы, дней. Телеграмма была вестником из другого мира, из другой жизни, где многое было внове, где еще только предстояло выбирать и отказываться, любить и отречься. Краткая телеграмма пробила плотину будней, и в брешь ринулся поток воспоминаний, сметая все на своем пути. Со дна старого сундука Виктор достал самодельный ватмановский конверт с армейскими письмами и фотографиями. Ребята-сослуживцы, офицеры, летний лагерь, строевой плац. Все вспомнилось вдруг сразу. Он захлебнулся воспоминаниями. Первые дни в части, отбой, подъемы, передвижения только строем, два месяца взаперти без увольнений, тоска по дому, школа сержантов, караулы, конвои,



переезды роты в В., шум прибоа на взморье, полковые поверки, Братское кладбище в Риге, экскурсии в кино, на табачную фабрику, ночные стрельбы, самоубийство ефрейтора из первой роты, юбилей полка — все хлынуло в комнату, заговорило, запело, закомандовало, замаршировало, запело давно поблекшими красками, повеяло давно отлетевшими ароматами. Словно дрогнула, как гора при землетрясении, вся его теперешняя, обжитая, законопаченная от всяких сквозняков и треволнений, обихожённая, самодовольная жизнь. И над этой жизнью, и над прежней была — ОНА.

...над океаном пробудившихся воспоминаний, как солнце над суетой дней, плыла дивная красавица, краше которой никогда не было и не будет на земле. Ее чистое светлое чело украшал потемневший от старости, искусной чеканки серебряный венец, который носила девушкой ее прабабка. Вились по воздуху две пурпурные ленты, скреплявшие края венца, а за плечами красавицы струилась шлейфом, плескалась, как Млечный путь среди звезд, чудо-коса. Льняное длинное платье с орнаментом Видземской волости по подолу облекало красавицу, как звезды мерцали ее глаза, как песня звучал ее голос, как малина на солнечной вырубке в ближнем лесу от казармы были алы и сладки ее губы. И эта красавица любила его, его одного. Красавица плыла над воспоминаниями как облако над землей в лунную ночь, смотрела из многолетней дали на него поникшими, выплаканными глазами. И как крик нестерпимой боли, летел к нему зов телеграммы...

Конечно, размышляя здраво, трезвым умом делового, пожившего человека, а не пылким сердцем безрассудного юноши, ехать никуда не следовало. Да, когда-то они любили друг друга, но кому в юности не горячила кровь лихорадка любви? А сейчас они чужие друг другу люди, с разными вкусами и привычками. Приехать к когда-то близкому, а теперь чужому человеку, вымучивать из себя слова приветствия, вытягивать из души клещами осколки воспоминаний, выражать сочувствие, жалость. Ведь как ни скудна информация, содержащаяся в телеграмме, ясно, что ничего хорошего его там не ждет. Лайма, по всей видимости, больна, если не при смерти, и зовет его проститься. Не будет пользы от этой поездки, одни лишь переживания. Съездишь, вернешься с разбитым сердцем, с растрепанной душой. А воспоминания накатывались тяжкими волнами прибоа, кропили душу освежающими брызгами, и правильные, логичные выводы житейской мудрости слабели под их напором, таяли, как глыбы весеннего льда на берегу. Все эти годы, десятилетия он мечтал побывать там, в том славном латышском городке, где оставил частицу самого себя, но прятал, топил в делах и заботах эту мечту. Надо, надо поехать! Ты обязан, должен. В память прежней любви. Поехать, чтоб потом не казнить себя, не изводить себя сожалениями о том, что человек позвал тебя, а ты не захотел услышать, не бросился на помощь с нерассуждающим дерзновением юности, не подал милостыню человеку, которому ничего другого, быть может, уже и не нужно в жизни.

Итак, за дело! Первый звонок в гараж ("Подготовьте через час "Ниву" по программе дальней поездки"), второй секретарю ("Назначенное на завтра совещание с представителями лесобиржи переносится на следующую неделю. Принесите мои извинения. Чрезвычайная ситуация") и третий младшей дочери.

— Ларочка, — сказал он, услышав в трубке ее голос. — Я уезжаю на пару-другую дней. Не скучайте без меня.

— Куда, если не секрет?

— В В.

Дочь закашлялась и, чтоб скрыть смущение, пошутила:

— За новой мамой?

— У Виктора не было тайн в семье о годах его бурной юности.

— Я получил оттуда тревожную телеграмму. Пойми, я обязан поехать. Это мой долг. Приеду — все расскажу.

— Конечно, поезжай. Прости, если неудачно пошутила. Будь осторожен, о Латвии сейчас такое в газетах пишут.

— Не беспокойся, все будет хорошо. А насчет газет, ты помнишь, что говорил по этому поводу профессор Преображенский своему ассистенту Борменталю?

Дочь засмеялась...

На почте Виктор отправил домой факс, что доехал благополучно, прогулялся по центру города.

Былое напоминало о себе на каждом углу: в этом спортзале они играли в волейбол с командой ГПТУ, здесь разгружали по просьбе городских властей рефрижератор с консервами, а в книжном магазине в увольнении ему привалила несказанная удача — он купил двухтомник Тютчева и ночью, после развода смены на посты, упивался в караулке его стихами.

Однако реальная жизнь перечеркивала воспоминания, отметала их. Улица Ленина переименована в Рижскую, у Мемориала героям войны не горит Вечный огонь, много латышских вывесок на магазинах, хотя попадают-ся и прежние (руки, видно, еще не дошли), с параллельным русским текстом.

С крыльца универмага, куда он заходил купить заводную игрушку внуку (ему ее не продали: в Латвии введены визитки на промтовары), Виктор увидел за деревьями белевшую церковь.

В храме завершалась обедня. Певчие на клиросе нестройно запели: "Великого Господина и Отца нашего..." Поставив свечу у иконы дня на аналое, у Распятия, у храмового образа преподобному Сергию, Виктор подошел ко кресту.

— Вы не могли бы задержаться на минутку? — предлагая ему крест для целования, спросил священник.

Недоумевая, зачем он мог ему понадобиться, Виктор стал возле образа Богородицы Умягчение злых сердец.

Недоумение его разрешилось скоро. В печи, где пекут просфоры, прогорел под. Для его починки привезли два поддона кирпича. Крана нет, сбрасывать кирпич на землю — побьется много, а машину надо отпускать. Не пособит ли он в разгрузке?

На хозяйственном дворе Виктор открыл с шофером борт машины, забрался в кузов, надел рабочие рукавицы. Шофер, церковный сторож, алтарник образовали живой конвейер, к ним пристроились две старушки.

У стены просфорни — деревянного домика под зеленой крышей — росла стопа кирпичей, когда в калитке хоздвора показался священник — отец Валерий, в скуфейке и подряснике, перехваченном матерчатым пояском с текстом псалма на нем. Сноровисто подавая кирпичи, Виктор окинул его зорким взглядом. Он, пожалуй, ровесник ему. Лицо не старое, оживленное, умные глаза, но борода белая, такая длинная и волнистая, как у ветхозаветного пророка с иконы. Руки, которые он заложил большими пальцами за пояс, не рабочие, мягкие, кабинетные руки интеллигента.

— Принимайте, батюшка, работу, — подав последний кирпич, сказал Виктор и, прыгнув на землю, сбивал ребром ладони красноватую пыль с брюк.

— Вот какого помощника Господь нам послал, — благословляя его, улыбочиво сказал священник. — Не здешний? Не встречал вас раньше в храме.

Виктор сказал, откуда приехал.

— О-о, из каких палестин к нам пожаловали, из Северной Фиваиды. И город ваш знаменитый, там ведь кирпич на голову Ивану Грозному упал. Что же вы, северяне, чуть Царя не убили? — шутил отец Валерий.

— Это ж легенда, не исторический факт, — отражая обвинение в попытке цареубийства, возражал Виктор.

— Не скажите. Что же он передумал столицу к вам переносить? Не жалеете? А вы, часом, не печник?

Виктор, смеясь, ответил, что часом нет.

— Уж больно ловко у вас с кирпичами получалось, — оглаживая Виктора взглядом незлобиво васильковых глаз, сказал отец Валерий.

— Достигается частым упражнением.

— Булгакова цитируете, — подметил священник. — Какими судьбами к нам?

— Так, по одному делу, — стесняясь чужих людей, сказал Виктор.

— Ну что же, — не смутившись, что не получил прямого ответа, сказал священник, — да поможет вам Бог совершить его, как должно. Заходите, рады будем вас видеть.

Виктор спешил в больницу в приподнятом настроении. Усталость от долгой дороги, правда о болезни Лаймы, перепалка с врачом, все, что лежало жестким грузом на сердце — смягчилось в церкви.

7

Оставшийся до вечера день Виктор провел в палате. Рассказал Лайме, где был, что видел.

Думалось, им будет о чем поговорить. Былая близость давала им возможность делиться самым сокровенным. Однако боязнь неосторожным намеком пробудить былую боль обманутых, несбывшихся надежд Лаймы заставляла Виктора молчать о прошлом. Они говорили только о детях. Виктор рассказывал о дочерях, о внучке Олежке, четырехлетнем бойкуше, которого уже сейчас не оттащить от пианино, видимо, музыкант растет, и до мельчайших подробностей выпрашивал о Вилисе: каким он был в детстве, что читал, чем увлекался. Сын почти точь-в-точь повторял его: был таким же непоседливым озорником, но учился хорошо, был пытливым, любознательным, не злым мальчишкой, и за это ему многое сходило с рук.

Чувствовалось, что Лайме приятно обновлять эти воспоминания, переживать их вместе с ним.

А когда в седьмом часу вечера сам Вилис пришел с работы, они уже втроем смеялись над его шалостями и проказами, за которые — что скрывать — ему чувствительно попадало от матери.

— Неужели и ремнем? — спросил Виктор.

— Ремнем, вицей, — с жалостливой миной на лице перечислял Вилис.

— Ой, бедный, — засмеялась Лайма. — Не прикидывайся, ведь и вправду поверят.

— А я так своих детей не бил, — оплошно побавлялся Виктор, но было уже поздно.

— Кто же девочек бьет, — сказала Лайма. — А Вилис. Если б у него был отец...

Виктор огорченно замотал головой, постучал кулаком себе по лбу.

Поскольку главврач разрешил посещать Лайму, Виктор полагал, что особого дозволения на ночные дежурства не требуется, но Лайма сказала, что без этого не обойтись.

“Прямо как допуск на секретный объект”, — думал Виктор, с неохотой отправляясь к главврачу.

Сидя на краю стола и покачивая ногой, врач увлеченно, перемежая речь вспышками хохота, говорил по телефону. Кабинет его меблирован обычно: письменный стол, застекленный шкаф с лекарствами и инструментарием, дерматиновая кушетка, длинный ряд стульев вдоль свободной стены, на отдельном столе компьютер и ксерокс.

Но была в кабинете и своя изюминка. Нет, даже две.

Над кушеткой в красивой багетовой раме висела репродукция картины Каспара Фридриха “Der Sommer”<sup>1</sup>, простенок же над головой врача занимала большая, в никелированной рамочке, черно-белая фотография военного, в мундире с аксельбантами и тучей звезд на победоносном выпяченном щите груди. Какое несовместимое соседство: творение романтического мастера и прямолинейный взгляд вояки. Вкус у хозяина кабинета весьма своеобразный.

Положив трубку, главврач указал Виктору на кресло возле стола, что-то сказал по-латышски.

Виктор с легким замешательством напомнил, что этим языком не владеет.

— Ах, да. — Врач снял очки, протирал их кусочком бинта. — Так что у вас?

— Я вижу, вы любите Фридриха? — надеясь перекинуть дружеский мостик, сказал Виктор.

— Я слушаю вас. — Главврач, надев очки, не мигая смотрел на Виктора.

— Янис Арвидович, — Виктор послал сожалеющий взгляд влюбленной парочке в шалаше, — вы знаете, что состояние Лаймы крайне тяжелое, она нуждается в постоянном уходе. Разрешите мне дежурить у нее ночью.

<sup>1</sup> “Лето” (нем.).

— Не могу разрешить, — показывая интонацией, что вопрос этот не подлежит обсуждению, сказал врач. — У нее есть сын, невестка.

— У невестки трое детей на...

— Возможно.

— А Вилис днем работает. Он недосыпает...

— Послушайте, что за разговор? — пожал плечами врач. — Что за ахиною вы несете, в конце концов. Кто-то недосыпает, у кого-то трое детей. Какое я имею к этому отношение? Вы не какой-то юнец-солдат, а здравомыслящий человек, подумайте сами, как я могу оставить на ночь в больнице человека, который неизвестно кем приходится пациенту, не муж ей, не сват, не брат. Вы отдаете себе отчет, о чем просите?

— Янис Арвидович, — Виктор встал, перевел дыхание, — зачем же так? Конечно, я человек не без недостатков, но зачем подозревать во мне невесту кого?

— Да что вы, — с веселым любопытством смотрел на него врач. — А кто вам сообщил, что я подозреваю? Я охотно разделяю ваше убеждение, что вы — кристальной души человек, но я руководствуюсь инструкцией из департамента здравоохранения...

— Инструкция инструкцией...

— ...которая гласит: ночью в лечебном учреждении кроме медицинского персонала разрешается находиться только родственникам больных. На сей раз вы не рискуете утверждать, что являетесь одним из них?

— Может, мы как-то поладим, — не сдавался Виктор. — Я состоятельный человек, могу оказать вам материальную помощь...

— Что-о? — врач положил руку на телефон. — Взятка?

— Я предлагаю не лично вам, а больнице. Это можно представить как дар. Главврач вытянул указательный палец в направлении двери.

— Янис Арвидович...

— Не дожидайтесь, чтоб я вызвал полицию. Вы свободны. Потрудитесь в течение получаса покинуть здание больницы.

Гнев, отчаяние душили Виктора. Давно, давно никто с ним не разговаривал таким тоном. Как ни бывал он утомлен, раздражен и даже зол на работе, он неуклонно держался со всеми, вплоть до сторожей и уборщиц, в рамках деловой корректности. Ни грамма фамильярности, но и ни капли хамства. А сейчас он был оплеван и оскорблен. И за что? За добрый порыв души. Что сделал он этому невеже, чтобы он глумился над ним. А кто вам сообщил... кристальной души... не сват, не брат. О, как хотелось бросить в лицо этому пустоглазому хаму, что он черствая, бессердечная скотина. Но нужно было проглотить обиду, молчать и терпеть. Ради Лаймы, ради сына.

В палате он скупой рассказал о своей неудаче. Лайма, пригорюнившись, вздохнула, а Вилис с мрачной решимостью на лице ринулся к двери.

— Пустите меня, — вырывался он из рук Виктора. — Пустите, я ему все скажу. Он издевается над вами. Вы же ничего не знаете, а я...

— Не смей! Замолчи! — пронзительно крикнула Лайма, задыхаясь, упала на подушку.

— Ладно, не буду, — угрюмо буркнув, Вилис отошел к окну.

— Ну, ваш главврач и фрукт, — опершись на спинку койки в ногах Лаймы, сказал Виктор.

Вилис прыснул у окна в ладонь, залиvisto захохотал.

— Что такое? Я неправильно выразился?

— Очень правильно, — хохотал Вилис, — в самую точку. Его фамилия — Аболс, по-латышски: яблоко.

— Янис — хороший, добрый человек, — вступилась за врача Лайма, — но такой... — она замешкалась, подбирая слово.

— Упрямый, своенравный, — подсказывал Виктор.

— Нет, нет.

— Вредный, твердолобый, — ехидничал Вилис.

— Пунктуальный. Вот, — прошептала Лайма. — Ему нужно, чтоб все было по правилам.

— У меня его пунктуальность, знаешь, мама, где сидит, — голос Вилиса задрожал. — Я вчера чуть в бензовоз не врезался. Надо, чтоб и меня сюда привезли?

— Прекрати, — осадил его Виктор. — Что ты мать пугаешь.

— Позовем его сюда, — с покрасневшими от прихлынувших слез глазами предложила Лайма. — Я сама попрошу.

— Нет, нет, звать никого не нужно, — воспротивился Виктор. — Зачем создавать заведомо тупиковую ситуацию? А если он заартачится, пойдет на принцип? Нас может выручить непредсказуемое, нестандартное решение. — Виктор зашагал по палате туда, обратно. — Надо что-то придумать, изобрести, на что-то решиться. — Он повернулся от двери и, озаренный чуждой мыслью, негромко спросил: — Вилис, ты сможешь выдержать еще одну ночь, последнюю? А завтра все изменится.

— Что именно? — Вилис скептически поджал губы.

— Если на ночь разрешено оставаться только родственникам...

Не договорив, Виктор шагнул к койке, опустился возле нее на колени и, взяв в ковшик своих ладоней пальцы Лаймы, глядя в ее близкие, темные от постоянно гложущей боли глаза, сказал:

— Лайма, дорогая моя, выход есть. И тогда никто не сможет разлучить нас. Ты согласна стать моей женой?

## 8

В детстве веселая резвушка Лайма ничем не выделялась среди сверстниц. Прыгала с ними со скакалкой, играла в "классы", дразнила мальчишек, шила платья для кукол, а зимой ходила кататься на гору, что заливалась на крутом, почти отвесном берегу реки, и к зависти многих мальчишек и восторгу подруг в числе редких смельчаков могла вихрем сомчаться с горы на ногах. Летом их класс отправлялся в походы к Турайдскому замку, Буртниекому озеру, в этнографические экспедиции по хуторам, собирая для школьного музея старинные вещи, записывая дайки, сказки, воспоминания старожилов.

К шестнадцати годам о Лайме вдруг заговорили все. С милыми чертами лица, голубыми глазами, длинной пушистой косой, с грудным певучим голосом и горделивой осанкой, она кружила головы как ровесникам, так и юношам из старших классов. Чтобы посмотреть на нее (а повезет — и станцевать), на школьные балы приходили ребята из других городских школ.

Ухажеров было не счесть, но Лайма ко всем относилась одинаково безразлично. Никто из воздыхателей не мог похвалиться ее благосклонностью. Ее обзывали гордячкой, недотрогой, говорили, что она копаются, пророчили ей остаться в старых девах, распускали про нее слухи и сплетни.

Как же все были потрясены и возмущены, когда по В. разнеслась весть, что красавица Лайма гуляет с солдатом из конвойной роты, размещавшейся на окраине города. Ведь солдат — это ненадежное перекасти-поле — нынче здесь, завтра там. Ее стыдили, убеждали порвать с солдатом и мать, и сестра, и школьная учительница, позванная матерью на подмогу. Исчерпав разумные доводы, мать грубо, без обиняков сказала ей, что бывает с безмозглыми дурами, поверившими солдатам. Лайма стояла на своем. Выйдя из себя, мать сгоряча отстегала дочку подвернувшейся под руку авоськой. Закусив губы, Лайма вытерпела экзекуцию, а вечером убежала из дома и двое суток жила в стогу сена на лугу.

Улеглись слухи, рассеялись поклонники, смирилась мать, но один человек ни за что не хотел смириться.

Янис Аболс — признанный лидер городской молодежи, честолюбивый умный юноша, книголюб и патриот, уже давно думал о Лайме как о невесте. Учились они в разных школах, но встречались на репетициях детского и молодежного городского хора. Одному Янису среди сонма обожателей позволялось провожать Лайму домой. А однажды она даже подарила ему поцелуй.

Поступок Лаймы кровно оскорбил его. "Неужели среди своих ребят нет никого, кто бы понравился тебе? — упрекнул он ее. — Зачем ты выбрала чужака?" Лайма отрезала, что это ее личное дело и ни перед кем она отчитываться не намерена. Порой она испытывала что-то вроде стыда, что полюбила не земляка, но ничего не могла поделать с собой. Она думала о любимом дни и ночи и летним утром не раз выходила к тополию на дороге,

мимо которого рота пробежала на зарядку, чтобы только увидеть, как Витя махнет ей рукой.

Янис задумал подстеречь залетного донжуана и задать ему хорошую взбучку, но, верный семейному обычаю, посоветовался с отцом. Добродушно потрепав его по голове, отец выразил сожаление, что такая достойная девушка, как Лайма, увлеклась солдатом, но сердцу не прикажешь, и кулаки — скверный аргумент в любви. А затем уже вполне серьезно внушил сыну, что он не имеет права забывать о своем дяде, старшем брате отца, если мечтает стать врачом. “Ты подумал, — сказал отец, — как могут оценить твою драку с солдатом, если она получит огласку?”

Окончив школу, Янис поступил в Ригу в медицинский институт, надев заветную студенческую кепочку с золотым позументом на околыше, а в середине первого семестра узнал, что произошло то, что предрекали опытные люди: Лаймин кавалер скрылся, оставив соблазненную девушку в положении.

Теперь каждую субботу, едва звонок возвещал о конце последней лекции, Янис, досадуя на черепашью скорость пригородного поезда, три часа тащился до В. Все выходные дни он пропадал у Лаймы, нянчился с ее ребенком, играл с ним, врачевал его детские хвори. Надежда, что Лайма все-таки полюбит его, долго не оставляла Яниса.

Зимой, в день ее рождения, Янис с шиком прикатил на такси из Риги. Лайма у Симоновской церкви везла в гору санки с малышом. Янис поздравил ее, вручил живые цветы, подарок, подвез санки и в этот миг — словно снизошло на него особое, духовное зрение — он увидел: прежней Лаймы нет. Появля, умерла ее пленительная красота. С морщинками у глаз, с первой сединой в выбившейся из-под берета челке, рядом с ним шла по снегу безучастная, обычная женщина, каких много. Чтобы увидеть такую женщину, вовсе необязательно приезжать сюда каждое воскресенье из Риги.

Стажировался Янис в ГДР, защитил кандидатскую, женился, воспитал сына и дочь, тоже ставших врачами, и сегодня увидел того, с кем искал встречи четверть века назад. Какая гримаса судьбы, что лицом к лицу они сошлись у койки умирающей их бывшей возлюбленной.

Выше среднего роста, подтянутый, чуть сутулившийся, с пристальным, но не наглым взглядом доброжелательных серых глаз, этот человек обладал даром обаяния, который дополняет, а подчас и заменяет внешнюю красоту. Янис не мог отрицать, что он симпатичен ему врожденной эlegantностью, сдержанным благородством слов и жестов, умением держаться с располагающим к себе достоинством. Возможно, сегодня он был с ним чересчур резок, несправедливо придирчив, хотя инструкцию департамента здравоохранения и надлежит исполнять неукоснительно.

Из домашнего кабинета Янис перешел на веранду, поднял раму окна. Из палисадника томно пахло цветущей сиренью, внизу слышался плеск порожистой реки, а в кустах пискнул и вдруг ударил ликующей трелью соловей.

“Какая же у них была любовь, — подумал Янис, и старая досада, зависть болезненно шевельнулись в душе, — если и через столько лет, когда даже родные теряют друг друга, он все-таки приехал к ней”.

## 9

Желтая полоска солнечного луча переползла с гобеленовых оленей в Альпах на спинку дивана, ему на лицо.

Виктор повернулся на бок. Поваляюсь еще малость и — рота, подъем!

Вот здесь и жила она, голубка, la paloma, как певал он ей в юности кубинскую песню. Ширпотребовский гобелен, фанерный шифоньер, швейная машина у окна, старый комод, круглый стол, вешалка с проволочными крючками. Чисто, опрятно и — бедно. На комодке две вазы цветного стекла с бумажными цветами. И никакой современной мебели! Пресловутой стенки и той нет.

Прощавшись вчера с Лаймой в больнице, он еще успел застать в церкви священника и условиться о сегодняшнем дне. Сюда пришел поздно, измученный и опустошенный (один такой день стоит полжизни), но

достучался до Нади, попросил ее быть свидетельницей и вообще, чтоб помогла.

— Женишься? На Лайме? — косо разинув рот, оторопело спросила Надя. — Она же не сегодня завтра...

— Не каркай, — запретил он ей говорить дальше, — раньше срока ведьму с косой не зови.

Как причудливо прядется нить жизни! Мог ли подумать он два десятка лет назад, что проснется на диване в этом невинном девичьем жилище и будет думать о женитьбе. И на ком? На умирающей старухе. Да почему — на старухе? Разве он женится на ней из жалости, из того богадельно-слезливого чувства, которое испытывают большинство людей при посещении больниц и инвалидных домов и которое заветривается у них, лишь только они эти заведения оставят?

Виктор поднялся с дивана, убрал постельное белье в нижний ящик комода, прочел дневное Евангелие, выгладил и надел свежую белую рубашку, повязал перед зеркалом в темной дубовой раме галстук. Решение, принятое им вчера, было единственно верным. Женившись на Лайме, он разрешал массу проблем: искупал часть вины перед ней; Вилис получал отца, а он сына (если сын этого захочет); и самое существенное — он становился независимым от капризов главврача, человека с виду культурного, а ведущего себя как неотесанный чурбан.

Из выпиленной лобзиком шкатулки на комоде он взял паспорт Лаймы, перебрал лежавшие под ним фотокарточки: Лайма, ее родители, Вилис. На обороте одной карточки написано: Vilis. 16 gadi<sup>1</sup>, и по-русски: копия Вити.

На середине комода под стеклом композиция: вырезки из газет конца шестидесятых годов, молодые Магомаев, Кристалинская, Кобзон, ноты песен: "Тополя", "Королева красоты", "Не спеши". Тут же веером разложены открытки с видами его родного города: собор XVI века с колокольной, панорама набережной, вокзал, обелиск в честь основания города. И в центре всего — фотография молодого разгильдяя с сержантскими погонами, сидящего на столе для чистки оружия, в расстегнутой, как говаривал старшина, "до пула" гимнастерке.

"Где она ее взяла? — отчего-то без радости разглядывая самого себя, подумал Виктор. — У меня такой нет".

Боже, что за сердце! Какая душа. Ведь вся квартира — это маленький музей памяти того сержанта. Время здесь остановлено, задержано, как в доме мисс Хэвишем.

За дверью шаги. Это Надя.

В машине Виктор передал Наде деньги, листок бумаги с перечнем покупок.

Сегодня ни клуб, ни сад, ни школьный стадион не вызывали наплыва воспоминаний, словно он и не уезжал отсюда никогда.

— Надь, — спросил он, выруливая на асфальт. — Ты врача этого давно знаешь?

— Яниса-то? Да как тебя.

Виктор воззрился на нее.

— Правда?

— Ой, Витька! — Надя, смеясь, припала к его плечу. — Да вы с Лаймой целовались-миловались, а он зубами от зависти скрипел. Он ведь тоже за ней ухлестывал, а когда ты уехал, я же говорила тебе, два раза к ней сватался... (Виктор присвистнул: многое объяснилось в поведении врача.) Только шиш ему чего обломилось. Так ему и надо, лабусу поганому. Лаймочка-то наша красавица была писаная, как актриса, все у ней на месте, а на евонную бабу посмотреть — тьфу! Ни тут, ни тут ничего нет, как в домино: пусто-пусто. — Надя злорадно иллюстрировала свой рассказ жестами.

Виктор моментально глянул на нее: как была она сейчас, с горевшим ненавистью взглядом, непохожа на затурканную, с готовностью к подхалимажу, повседневную Надю.

— Надюша, — Виктор привлек ее к себе, — что с тобой? Он тебе-то плохого чего сделал?

<sup>1</sup> Вилис. 16 лет (латышск.).

— Он! — Надя повернула к нему лицо с глазами, полными слез. — Он тут у нас первый горлопан на латышских митингах. Послушал бы ты, чего он врет про нас. После войны у него из родни не то убили, не то посадили кого, так его от слова “русский” трясет как бешеного. Когда памятник Владимиру Ильичу сбрасывали, он петлю ему на шею накиннул, а потом краску какую-то в рот ему лил. Кто ему разрешил? Чего ему, гаду-латышу, наш дорогой Владимир Ильич сделал? Чего? — Надя обхватила руку Виктора, словно ища защиты, мешала вести машину, он сбросил скорость. — Ой, Витюнечка, — взახлеб говорила она, — что деется у нас тут, тошнехонько. Ошалели все, что ли? Белый свет ведь не мил становится. Солдатики погибли в войну, так на кладбище в одну ночь все тумбочки на могилах скovyрнули. И мертвым покоя не дают. В магазине продавщица, с первого класса знакомы, на танцах вместе парням головы дурили, она будто немая, а я переводчица при ней, ухочешься. Теперь выкатит буркалы свои, как мороженный судак: говори по-нашенски, а то хлеба не продам. О-о-ой, за что изымательство такое? Шпыняют меня, что растапа я, за сорок лет по-местному мерекать не выучилась, а на кой пес мне ихний язык учить было, коль сами латыши через одного по-русски балаболили, а как матюгаться приспичит, так все. А сейчас-то он и подавно в голову мою дурную не полезет, так оставьте же на старости лет, ради Бога, меня в покое, чего худого-то я вам сделала! Всю жизнь комбинату ихнему отдала, на больничном не сживала, в трудовой благодарностей два вкладыша, грамотами хоть стену вместо обоев оклеивай. На них ведь горбатилась, не на себя одну. А чего заработала, какой капитал — расширение вен да астму.

Виктор затормозил у городского рынка, сидел, уставившись на походную иконку Николая Угодника, дрожавшую на присоске у ветрового стекла. Монолог Нади ошеломил его. Читая статьи и заметки о событиях в Прибалтике, он не шибко верил им, беря поправку на неминуемое газетное вранье. А это — правда. И какая!

— Вить, ты человек проученый, начальник, чего делать-то нам? Как быть?

— Откуда я знаю, — мрачно ответил Виктор. — Не уполномочен я такие ребусы решать. Давай, будем делать дело, которое начали, а там увидим. Не тужи, как-нибудь все утрясется. — Он крепко прижал Надю к груди, чмокнул в темечко (от волос Нади пахло хозяйственным мылом) и открыл дверцу машины, выпуская ее.

## 10

Службы сегодня не было, лампы и свечи не горели, безлюдная церковь выглядела пустынно. Отец Валерий, одетый в светло-бежевый летний костюм, с саквояжем в правой руке, беседовал с женщиной за свечным ящиком.

Виктор перекрестился, подошел под благословение.

— Добрый день, добрый день, — благословил его священник. — Не рано?

— Наверно, нет.

— Тогда покупайте что нужно.

— А что нужно? — Виктор почувствовал, что краснеет.

Отец Валерий, деликатно кашлянув, спросил:

— Вы же говорили, что были женаты. Вы не венчанными жили?

Виктор конфузливо сказал, что он крестился только четыре года назад.

— Что ж, бывает, — снимая возникшую неловкость, мягко сказал священник, кивнул служительнице. — Сделайте все, как надо, а я пока в ризнице венцы возьму.

Виктор заворачивал в белое полотно венчальные свечи, иконы Спасителя и Богородицы, когда отец Валерий вышел из алтаря.

— Батюшка, — сказал Виктор, — я хочу пожертвовать на украшение храма. — Он положил на угол свечного ящика пачку кредиток.

Священник и женщина за свечным ящиком переглянулись.

— Спасибо вам большое, — поблагодарил отец Валерий. — Но зачем так много?



— Мое дело дать, — пошутил Виктор.

— Отказываться я не буду, — пряча улыбку в усах, ответил священник, открыл саквояж. — Кладите сюда — свечи, образа.

Церковным притвором, на своде которого Христос воздел благословляющую десницу, они шли на улицу.

— Скажите, Виктор Сергеевич, а вы заручились согласием Яниса Арвидовича? — спросил отец Валерий.

— На что? Чтобы он разрешил мне жениться на Лайме?

Священник улыбнулся, погладил бороду и уже на улице сказал:

— Нет, до таких пережитков крепостничества или феодализма, как вам будет угодно, мы еще не докатились, но, понимаете, Янис Арвидович... может элементарно не пустить вас в больницу.

— Не имеет права.

— Имеет. Я от всей души приветствую ваше благое намерение покрыть грех блуда венцом, и чудесно, что невеста единодушна с вами, но разрешение посетить духовному лицу больницу, школу, места заключения принадлежат администрации. Янис Арвидович, по всеобщему мнению, специалист замечательный, каких поискать, но его характер, на который воздействуют нынешние ненормальные обстоятельства, этот разгул националистических страстей, вот что меня беспокоит.

— Прорвемся как-нибудь с Божьей помощью, — храбрился Виктор.

— Вам легко говорить, а святые отцы сравнивают страсти с вулканом, который оставляет вокруг себя опустошение и ужас. Что же остается думать о людях, страстями одержимых?

— Батюшка, неужели все так серьезно? — спросил Виктор. — Мне женщина одна об этом, как вы называете, разгуле, минут пять назад говорила. Я подумал, может, преувеличивает она, женщинам свойственно это, из мухи слона делать.

Отец Валерий с легким прищуром, словно взвешивая: довериться или нет, смотрел на Виктора.

— Присядем. Время еще терпит. Пустит нас врач, не пустит, успеем все равно.

Они сели на скамью у могильной ограды. Позади них возвышался крест из черного полированного мрамора с надписью по дореволюционной орфографии. Ветерок покачивал над могилой ветви плакучей березы.

Отец Валерий поскреб сухим прутиком землю.

— Вы у себя в России, Виктор Сергеевич, вообразить не можете, в каком положении ныне находятся мои прихожане, просто русские люди в Латвии — вчерашние санитарки, медсестры, ткачихи, учителя. Оказаться на склоне лет чужой мужу, детям — тяжело, но, к прискорбию, это не столь уж редкая жизненная коллизия, и люди как-то свыкаются с ней. Но оказаться вдруг ненужным стране, в которую ты жизнь свою положил, отдал ей свой труд, свои надежды, свое счастье видел в ее счастье, а тебя сейчас из нее выкидывают, это тяжелее во сто крат. Как вложить в душу, оправдать сердцем, когда человека выгоняют из дома, из города, который он построил, где проложил дороги, устроил водопровод, свет? Сколько горя сейчас вокруг, сколько несчастных людей накладывают на себя руки. — Священник сломил прутик, положил обломки за оградку. — И словцо-то какое для русских позорное отыскали, из чулана лживого вытащили — оккупанты. Это мы — оккупанты! Мы на этой земле — по меньшей мере с XII века, преизобильно удобренной русским потом и кровью. Латышское название России — *Krieviga* говорит о незапамятной древности, о племени кривичей, что жили рядом с древними племенами, из которых образовался латышский народ. Еще в XII веке русские князья помогали латышам в их борьбе с Ливонским орденом. Название нашего города происходит от имени Псковского князя. Вплоть до XVIII века эту землю рвали на куски то Ливонский орден, то Польша, то Швеция. Только оказавшись в составе Российской империи, латышские земли Латгале, Курземе, Земгале и наше Видземе собрались во единое целое, что сейчас называется Латвией. Национальное движение латышей, когда они начали осознавать себя народом, а не сборищем батраков и прислужников у остзейских немцев, связано с Россией и поддерживалось ею. Первая газета на латышском языке, проникнутая именно национальным духом, вышла в Петербурге, в Риге

напечатать ее было невозможно. Создателю эпоса “Лачплесис” поэту Андрею Пумпуру (кстати, впоследствии офицеру русской армии), мечтавшему учиться дальше, немецкий пастор заявил, что для латыша достаточно приходской школы. Поэтому неудивительно, что все основоположники национальной культуры Латвии получили специальное высшее образование в России. Музыка — Витол и Калниньш, скульптура — Зале и Залькальн, архитектура — Бауманис, живопись — Пурвитис и Розенталь, литература — Райнис и Розитис. В латышском фольклоре отрицательные герои — черт или немец, но ни в коем случае русский. А народную душу не обманешь.

В ораторском искусстве есть прием — фигура умолчания. Решающий вклад России в историю культуры Латвии — нынче такая фигура. Кому-то выгодно историю взаимоотношений наших стран отсчитывать от 1940 года, когда “кровожадная” Россия оккупировала беззащитную Латвию. Но вспомним революцию. Нынче модно говорить о руководящей роли евреев в революции и гражданской войне. А где еврей, там и латыш. В одной шеренге Троцкий, Свердлов, Урицкий, а в другой...

— По-армейски: на первый-второй рассчитайся, — вставил Виктор.

— ...Берзинь, Петерс, Лацис, со своими стрелками залившие Россию кровью. Всюду были они — краса и гордость революции. Они охраняли Ленина, “освободителя” русского народа от веками накопленных богатств, они расстреливали нашего Царя с Царицей и их детками. Трудно назвать губернский город, где бы не стоял полк или батальон прославленных своими карательными подвигами латышей. Об этой оккупации теперешние борцы за историческую правду помалкивают.

А после Великой Отечественной войны за чей счет восстановили разбитую в пух и прах Латвию? За счет России. На чьи деньги построен современный Рижский порт, от которого Россия теперь не получает ни гроша? За счет республиканского бюджета? А на основе чего создавался этот бюджет, в какой бюджет он входил составной частью? С 1940-го по 1960 год производство здесь выросло в десять раз, создали девять новых Латвий, а сами как жили? При Ульманисе Латвия (и вся Прибалтика той поры) была задворками Европы, а в Советском Союзе из нее сделали витрину великого государства.

Вот и судите, Виктор Сергеевич, серьезно это или нет? Ничто не вечно. Хотите получить независимость? Получите, если так хочется, но зачем людей топтать, которые кроме добра вам ничего не сделали?

Отец Валерий замолчал.

— Три года я тут служил, — сказал Виктор, — а слышу это впервые. Политруки нас совсем другой кашей потчевали.

— Еще бы. А я разве в те годы посмел бы что-нибудь подобное сказать?

— Батюшка, и никакой надежды? У меня в Риге бывший ротный и замполит батальона живут. Старики оба, жалко ведь их.

— Без надежды нельзя жить. На исповеди такое доводится слышать, что если б не священный сан, впору с ума сойти. Бог, вы знаете, Орду переменял. Со временем и здесь все уляжется, возвратится в доброе русло, жили же в Латвии русские до сорокового года, никто их гражданами второго сорта не считал, не третировал, не лишал избирательных прав. Люди очень падки на дозволенный грех, а ведь в богословском, духовном смысле любовь выше национального. Истинный Бог, о котором Апостол говорит, что Он — есть любовь, национальности не имеет. А племенные, местные божки имеют ее.

— Так это значит, — сделал вывод Виктор, — национализм — язычество.

— Когда он выливается в чувство превосходства над другими народами — вне сомнения. Национальности необходимы, красота жизни, сама возможность ее — в ее многообразии. Допустите, что на Земле одна порода животных, птиц, один вид деревьев, цветов, один народ, один язык — это вырождение. Но национальности должны жить в любви. Когда из своей нации создают идола, это очень опасно. Идолы, как известно, требуют человеческих жертвоприношений.

На ограду соседней могилы села синичка. Повертев своей головенкой, что-то чирикнула, словно прислушиваясь к их разговору. Дуновение ветерка взъерошило нежный желтоватый пушок на ее груди. Священник и Виктор глянули на пернатую гостью и оба подумали об одном.

— Пора, пора идти. — Отец Валерий взял саквояж. — Как знать,

может и получим мы от ворот поворот, но идти все равно надо. Еще нужно в загс завернуть.

Заведующая загсом, Алида Фрицевна, тучная латышка, с темными кудряшками прически и короткими, толстыми пальцами в золотых кольцах и перстнях (ни дать ни взять продавщица из овощного магазина где-нибудь в средней полосе России), не дослушала Виктора, сбивчиво и путано излагавшего свою просьбу: после разговора у церкви он готов был в каждом местном жителе видеть "красного стрелка".

— Я все поняла, — ласково остановила она его. — Зачем вы так волнуетесь? Когда это нужно? Сегодня, завтра?

— Сейчас.

Она полистала перекидной календарь, пометила в нем карандашом, достала из сейфа большую казенную книгу и коробочку с печатью.

— Идемте. Вас, вероятно, Виктором звать?

— Да. — Виктор засмеялся. — Я вижу, меня чуть не весь В. знает.

— А что вы смеетесь, — выходя на мраморную лестницу, по которой счастливые молодожены поднимаются в зал торжеств, и спускаясь по ней, говорила заведующая. — Городок наш невелик, все тут друг другу знакомые да родные. А с Лаймой мы подружки с малых лет. Она, Надя и я — неразлучная троица. Я о вас давно наслышана.

На последней ступеньке лестницы заведующая замедлила шаг и, по-учительски строго глядя на него, сказала:

— Признаться, я была худшего мнения о вас. Скажите чистосердечно, разве нет вашей вины, что Лайма сейчас на краю смерти? Ах, мужчины, мужчины!

Виктор, понутив голову, залился краской стыда. Эта с виду туповатая, недалекая женщина пусть бесцеремонно, но справедливо, по совести обличила его.

Он промямлил нечто невразумительное, скорее отворяя перед заведующей резную, с начищенными медными ручками дверь загса.

Заведующая удивилась, увидев в машине отца Валерия. Виктор объяснил ей, что она регистрирует гражданский брак, а священник совершит таинство венчания.

— Я ж говорил, батюшка, прорвемся! — воодушевленный легкостью, с какой уладила проблема с загсом, сказал Виктор.

— Цыплят по осени считают, — постучав пальцами по саквою, не разделил его преждевременной радости священник.

— А что такое? — грузно усаживаясь в машину, полюбопытствовала заведующая. — Какие-то затруднения?

Виктор поделился их опасениями.

— Кого это он не пустит? — разгневалась заведующая. — Меня? Да я всю его больницу по щепочке разнесу. Меня, к моей Лаймочке?! Я в тюрьму хожу людей расписывать. Воров, негодяев. Да я этого доктора в школе...

Виктор и отец Валерий, получившие такого весомого союзника, восторженно внимали героической саге о том, как во втором классе Алида отодрала Яниса за волосы, как затем он напал на нее с дружками из засады и она, удирая, пряталась от них за поленницей дров.

— Но я потом ему попомнила! — стукнув кулаком по подголовнику сиденья Виктора, поставила победную точку Алида. Заметив, что они переглядываются в зеркале, она подловила их взгляд и заодно, как девочка, мигнула им.

У рынка с двумя бокастыми, раздувшимися сумками и огромнейшим букетом белых роз их ждала Надя.

## 11

Мелкая кирпичная крошка на главной аллее больничного парка уныло похрупывала под ногами.

На крыльце больницы среди медсестер, как полководец среди адъютантов, стоял грозный главврач. Отмахивая рукой туда и сюда, он раздавал им поручения и заодно распекал за лень и нерасторопность.

Звучность его голоса была такой же, как в палате. На митингах он, должно быть, обходится без мегафона. Встречи с ним никак не избежать, но лучше, если б он был один. Хотя, как знать.

Виктор механически регистрировал впечатления и куцые мысли, мельтешившие в голове, стараясь ни на чем не задержаться надолго, чтобы не отвлечься и не забыть речь, которую он прилежно выстраивал в машине.

— Ну и куда мы идем? — скрестив руки на груди, отстукивая носком правой ноги маршевый ритм, с едкой усмешкой спросил главврач.

Виктор поставил Надины сумки на землю, оглянулся на снявшего шляпу и прижавшего ее к груди отца Валерия, на втянувшую голову в плечи, как перепуганный заморыш-птенец, Надю, на рвавшуюся в бой Алиду, и все заготовленные слова разом выскочили из головы. Колени у него задрожали, как не дрожали ни на одном экзамене и ни в одной драке (даже в кровавой мясорубке в Юрмале, когда они махались бляхами с матросней), и вдруг подумалось ему, что венчание нужно не только им с Лаймой, но и отцу Валерию, и Наде, и Алиде, и врачу, и сестрам.

И не только обдуманное слово, но и все имеющие название людские чувства пропали куда-то — стыд, осторожность, самолюбие, гордость. Осталось одно чувство, которое влекло, вело, толкало его туда, к дверям палаты, где лежала женщина, человек, которого не рок, не судьба, а именно он лишил сполна заслуженного счастья. Он мог возместить крохи его и ради этого готов был на все — открыть свою душу до самого дна, унизиться до каких угодно пределов, упасть на колени, умолять, чтобы его допустили к ней. Силой достичь этого было нельзя, а только добром, чтобы человек, от которого зависит решение, поверил тебе.

— Уважаемый Янис Арвидович, — посылая не только свой взгляд в самую сердцевину глаз врача, но и всего себя, словно всю душу свою хотел он перелить ему в этом взгляде, говорил Виктор, — когда-то я служил в вашем городе солдатом. Здесь я повстречал Лайму Радзиню, и мы полюбили друг друга. Но затем расстались. Так получилось, что Лайма родила и воспитала... нашего сына. Я не лгу, я не знал о нем. Когда Лайма заболела, я приехал сюда. Чтобы как-то загладить, искупить свою вину перед ней и, наверно, перед всеми вами, я решил жениться на ней. (Одна медсестра, подраненно вскрикнув, села на край крыльца.) Я надеюсь на вашу помощь и сочувствие.

Виктор тоже бы сел, где стоял, как эта сестра (силы оставили его), но этого позволить было нельзя.

Внимая словам этого глубоко чуждого ему человека, пропуская его взгляд к себе в душу, как домой, подпадая под обаяние той самозабвенной искренности и доверия, какими дышали его слова, Янис находил в его голосе, взгляде много такого, чего не видел и не хотел видеть и слышать еще вчера. Он видел в нем не приезжего, назойливого посетителя, не чужака, бывшего врага, соперника, а человека, который стучится в твое сердце с добром, с любовью. Нельзя не отозваться, не пойти навстречу, если ты считаешь себя человеком.

— Конечно, проходите, — сказал он, уступая дорогу. — Разве я против. Да как я могу...

...В изголовье кровати Лаймы благоухал букет роз. Переодетая из больной сорочки в пеньюар с кружевными рукавами, Лайма выглядела поздоровевшей, в глазах исчез сухой страдальческий блеск, поблекла желтизна лица, с губ не сходила праздничная улыбка.

Сразу же получилась загвоздка. У невесты свидетелем была Надя, а у Виктора в городе был один знакомый мужчина — Вилис. В свидетели он не годился, да и вообще он работал.

— В исключительных случаях допускается регистрация без свидетеля, — сказала Алида.

— Да лучше бы все совершить чин по чину, — обронил заметно прибодрившийся отец Валерий, выкладывая на два сдвинутых стула из саквояжа все потребное для совершения таинств. — Кто же жениху, северянину, — он хитро покосился на Виктора, — венец держать будет?

— Также мне — гордиев узел, разрубить некому, — заворчал Янис. — Я — свидетель! Ну чего вы на меня так смотрите? На питекантропа я не похож. Невеста “за”?

— Protams<sup>1</sup>, — улыбнулась Лайма.

По совершении формальностей молодые расписались в загсовской книге, после чего Алида объявила их мужем и женой и предложила обменяться первым супружеским поцелуем.

— И потом еще нужно будет? — Лайма указала взглядом на священника.

— Всенепременно, — отчеканил Виктор.

— И он тоже будет первым?

— Он первым и будет, а этот — генеральная репетиция.

С забившимся сердцем он склонился над милым лицом, исхудалые руки обвили вокруг шеи, и губы его прикоснулись к бледным, усохшим дорогим губам.

Зажглись свечи, позвякивая цепочкой, закачалось кадило.

— Я для вас ладан особый взял, — говорил отец Валерий. — С Афона послали мне на прошлую Пасху коробочку. Я из нее по высокаторжественным случаям ладан беру.

Священник взмахнул кадилом, подал возглас:

— Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков.

— А-а-аминь, — подпел Виктор.

...В палате голубоватым туманцем колыбался душистый дым ладана, блестили капли святой воды, которой отец Валерий окропил палату и всех присутствовавших, на подоконнике стояли порожние бутылки шампанского, а на полу серебрился комочек конфетной фольги — свидетельницы коротечного свадебного пира.

— Как жаль, что Вилиса нет, — сказала Лайма. — Он был бы так рад.

— Еще порадуется. — Виктор надел ей на руку янтарный браслет — свадебный подарок.

— Что же я тебе подарю? — любуясь браслетом, спросила Лайма.

— Живи дольше, это единственный подарок, который я хочу получить от тебя, — сказал Виктор и прочел:

*В твоём миру живя,  
Душа беспечна.  
Будь жизнь долга твоя,  
Держава вечна.*

— Твои стихи?

— Куда мне, Разинечка. — Виктор прикоснулся к кончику ее носа. — Это Гете.

— А-а. Какое-то другое его стихотворение ты мне читал. Длинное-предлинное.

— Наверно, “Коринфскую невесту”. Что ты еще помнишь?

— Как звезды учил находить, — с радостью припоминания сказала Лайма.

— По этим звездам я и пришел к тебе. — Виктор поднес к губам ее ладонь, когда-то горячую, полную и упругую, а теперь состоявшую только из костей да сухожилий, которые, подобно вязальным спицам, передвигались под пергаментной кожей.

## 12

Они безумно любили друг друга, а расстались нелепо и — кто мог подумать — навсегда. Днем они поссорились из-за какой-то чепухи, которая в тот же день забылась, а вечером ротный собрал “стариков” в ленкомнате и сказал:

— Должен вас, орелики, обрадовать: звонил командир полка, разрешил трех человек уволить домой. Вы выполнили наш уговор, в юбилей Октября не допустили нарушений и молодым не дали, предоставляю выбор на ваше усмотрение.

Ротный вышел. Все притихли. Дембель, которого ждали три года, о котором мечтали караульными бессонными ночами на стрельбище, в кухонных нарядах, — близок, рядом. Кто-то заорал: “Ура!”, все подхватили

<sup>1</sup> Конечно (латышск.).

и начали обниматься. Чтобы не было обиды, кому ехать, порешили кинуть жребий. Выгребли из карманов имевшуюся наличность, отделили шестнадцать двушек, царапнули штыком, взятым у дневального, три из них и высыпали монеты в пилотку. Одна из трех монет выпала ему, вечному удачнику.

Остаток дня заняли сборы: надо почистить, смазать и сдать оружие, получить у старшины парадный мундир и дембельские сапоги. После отбоя он побежал мириться к Лайме, а она показала характер и увистала к сестре в Даугавпилс.

В штабе полка на завтра он получил проездные документы, простился с братвой в батальоне, и вечером московский поезд повез его домой.

Ребята-однополчане и солдаты из других частей, понятное дело, сразу “загудели”. Он уединился в тамбуре, и только показались огни Даугавпилса, в нетерпении открыл вагонную дверь.

На перроне его сцапал патруль. Рванул бы он от них — ищи ветра в поле! — как бывало в самоволках, но с чемоданом? да и с какой стати он, дембель, будет от кого-то бегать? Отслужил ведь, отбухал законное, можно же по-людски договориться. Начальник патруля — толстопузый, туполобый, с красным, как перец, носом горького пьяницы, седой лейтенант повел его к коменданту. А комендант — тощий, как шомпол, черный от злости или паскудности своей натуры майор зашипел, складывая губы куриным гузном: как он посмел, растакая мать, сойти на станции, коли у него нет разрешительной отметки в проездном документе. “Я имею право сделать в пути остановку до трех суток”. “А я влуплю тебе сейчас “червонец” гаупвахты, — засипел майор, — тогда ты все спознаешь о своих правах. Покудова ты солдат. Сымеешь шинелку, тогда делай, что хошь”.

Вместе с “веселым другом чемоданом” его заключили в камеру. В бессильной ярости он мерял ее шагами, как лев в клетке, впервые за три года возненавидев шинель, погоны и свое солдатское звание. Чтoб показать, что не боится он ни коменданта, ни его “червонца” (эка невидаль!), он откупорил бутылку рижского балзама, купленного на вокзале в подарок отцу, нарезал колбасы, черного хлеба, взятого с полковой кухни, и сидел на полу, потягивая из бутылки.

За этим занятием и застал его майор.

— Герой, — осклабился он. — У вас в конвое все такие, — комендант выдержал паузу и припечатал: — придурки? Собирайся, — зарычал он, — растакая мать, расселся, понимаешь, как Теркин на привале.

В вагоне прибывшего следующего московского поезда, куда его втолкнул тот же, выслужившийся из “кусков” седой лейтенант, он напился с горя с незнакомыми дембелями.

Дома, что ни день, подъезжали отслужившие друзья. Сегодня пили у одного, завтра гуляли у другого, послезавтра дым коромыслом у третьего. Стыдно, но первое письмо Лайме он написал едва ли не через месяц. В ответ длинное, на листках из ученической тетрадки, дышавшее любовью послание. Как она скучает и ждет его.

А он уже жил в преддверии свадьбы. Юная, нареченная ему невеста была так хороша, наивно-доверчива и мила, а родители с обеих сторон так спешили увенчать сватовство свадьбой. Отец Поля занимал солидный пост в обкоме, и его отец в городе был человеком далеко не последним. Родные, соседи, дядюшки и тетушки, которых он до свадьбы в глаза не видел, все уши ему прожужжали о завидной партии. “Дураком будешь, если упустишь такой шанс. Смотри, не проворонь удачу”.

Да можно подумать, он сам был против. Нет, с эгоизмом молодости он охотно бросился в объятия новой любви. Менял же Гете своих возлюбленных. Лотта, Рика, Лили Шёнеман. Какую только подлость, какое предательство нельзя подкрепить тьмой исторических примеров. Отчего же с такой легкостью не приходят на ум образцы верности и самоотверженной любви?

Писем от Лаймы больше не было. Годы спустя (у них уже родилась третья дочь) Поля призналась, что буквально на другой день после свадьбы нашла в почтовом ящике письмо с обратным латвийским адресом и, не читая, сожгла. Когда они вернулись из свадебного путешествия (круиз по Средиземному морю, это в те-то годы; путевки выбивал тесть), мать показала

ей еще два таких письма, которые постигла та же участь. Правда, что не читали они писем — теперь никто не узнает. Да и кому это теперь нужно.

Легко все списать на обстоятельства, оправдаться пошлой фразой: так сложилась жизнь. Но обстоятельства создают люди. Тебе отказали в полку сделать отметку в документах. Штабистов можно понять, у них приказ: скорее выпроводить дембелей за пределы республики, чтоб чья-нибудь драка или пьянка не легли пятном на часть. Можно понять и коменданта. Но ты же почти неделю куролесил в Москве у друзей, с которыми сошелся в поезде. Разве сложно было переодеться в “гражданку” — и через день ты в Риге, а вечером в В.? Но что теперь вспоминать и думать, когда ничего уже не вернуть назад.

### 13

Поставив “Ниву” на платную стоянку, Виктор безвыходно поселился в больнице. Ночью дежурил у Лаймы, менял сырые простыни и клеенку, протирал пролежни, изредка поил ее клюквенным киселем, а когда Лайма забывалась сном, по совету отца Валерия почти беззвучным шепотом читал Псалтырь: его чтение утишает страдания раковых больных.

В первое его дежурство в травматологии умер мужчина, рослый здоровяк, неделю назад разбившийся на мотоцикле и все семь дней не приходивший в сознание. Медсестре и двум санитаркам было не поднять его тело с койки, чтобы доставить в больничный морг. Они призвали на помощь Виктора. И в последующие ночи он с дружелюбной готовностью исполнял просьбы сестер, а днем носил из столовой бачки с пищей, закинул раз узлы с бельем в машину, чтоб отвезти их в прачечную, исправил несложную поломку автоклава.

Сестры вербовали его устроиться на полставки медбратом.

— Меньше чем на полторы не согласен, — рядился Виктор, — у меня ж одни ночные смены.

На время утреннего обхода и процедур, чтобы не нервировать своим присутствием врача, он скрывался в комнате санитарок, кемарил там часа три на кушетке и возвращался на пост.

Виктор не узнал Лайму в первый день не только потому, что она так исхудала, но и потому, что она была без косы.

А коса у молодой Лаймы была на загляденье. Солнечно-песочного цвета, с промельками густой тяжелой меди, толстая и пушистая, она канатом свисала ниже колен Лаймы. Сколько раз он расплетал ее, целуя щекочущие пряди, зарываясь в них лицом. Как-то он показал ей открытку с картиной Риберы “Святая Инесса”. Лайма, царственно усмехнувшись, скинула халатик, оставшись в купальнике, присела и, распустив косу, укрылась ею, как золотистой шалью.

Теперь этой красоты не существовало. На вопрос, когда она остриглась, Лайма ответила:

— Когда Вилиса родила.

— Но зачем?

— Поняла, что смотреть на нее больше некому. Вот зачем. Пишу тебе — ответов нет. Вилис родился, пришла на переговорный пункт, сказать тебе. Попалась на твою жену, она мне и прочитала лекцию о семье и браке. Дома на кухне я тупым ножиком косу и отпилила. Да что уж. Как у вас, русских, говорится: снявши голову, по волосам не плачут.

Виктора покорило: “У вас, русских. Мы ж теперь заодно”, а Лайма, отвернувшись к стене, угрюмо добавила:

— Я повеситься после этого хотела.

Они долго-долго молчали. Виктор, стиснув кулаками, раскаивался, что вспомнил о косе, предчувствовал: добром разговор этот не кончится. В ее голосе прозвучали несломленные болезнью интонации молодой Лаймы, когда она могла сказать кому угодно прямо в глаза, что она о нем думает.

— Витя, — настолько тихо, что он даже подумал: не ослышался ли, позвала Лайма.

— Что?

— Ты любишь не меня.

— А кого?

— Ту девушку. Молодую. С косой. Как можно любить меня, больную, старую, гадкую.

— Но разве любят только тело? — увязая в трясине безумного разговора, спросил он.

— А что другое? Тебе было нужно только оно, ты получил его...

Виктор забежал по палате.

— Лайма. Прекрати. Не хватало нам снова поссориться с тобой, чтоб все было как у людей.

— Помолчи, — зашлась она в крике. — Помолчи хоть раз, прошу тебя. Всегда ты был, всегда был прав. Витя все знает, все умеет, все объяснит, всему найдет причину. Не лги, не притворяйся, будь честен хоть раз в жизни, только раз. Тебе меня просто жалко.

Виктор смотрел на ее искаженное слезливой злобой лицо и, не думая, что делает, психанув, вышел из палаты. Миглом устыдившись, вернулся назад и обомлел. Не в силах сама повернуться на бок, Лайма сейчас сидела на кровати, ногой нашаривая пол.

— Не уходи, не уходи, — тупо, как говорящая кукла, повторяла она.

Схватившись за кроватную спинку, она выпрямилась во весь рост (Виктор кинулся к ней, отпихнув табуретку), пошатнулась (он подхватил ее на руки).

— Дурочка, глупая, — нежно журил он ее, целуя в щеку. — Ну чего ты вздумала, чего? Куда ж я уйду от тебя.

Лайма лежала на его руках не шелохнувшись, она была в обмороке. А когда очнулась, веда себя так, словно ничего не произошло.

Что это было? Желание хоть чем-то отплатить за пережитое, сделать так, чтоб и ему стало так же больно, как было ей? Чтобы и он сполна прочувствовал горечь, тоску обманутой, преданной любви? Многое выплеснулось в ее словах, и это все ты должен был принять безропотно, повинно. А ты не сумел.

Но, видимо, уже настала пора, когда можно было заговорить с Лаймой о переезде. До каких же пор он будет дежурить здесь? Еще неделю, месяц, год? Дома его ждут дела. Он увезет Лайму, и его дом станет ее домом. Чтобы подготовить ее к разговору, Виктор затеял под вечер пересказ евангельской истории о воскрешении Лазаря.

Когда он рассказывал, что Господь прослезился, узнав о кончине Лазаря, на глазах Лаймы тоже проступили слезы. Они вызвали в душе Виктора вдохновенный подъем, он увлекся и, живописуя, повествовал, как влачился Господь с Марфой и Марией по каменистой знойной дороге к гробнице Лазаря.

Вот уже отвален камень от отверстия пещеры, Господь возносит молитву Творцу. Лайма притаенно перевела дыхание.

— Лазарь! — возвысил голос Виктор. — Гряди вон! И Лазарь, уже разлагавшийся, четырехдневный мертвец, обвитый погребальными пеленами, вышел из могильной пещеры.

— Ах! — с благоговейным трепетом выдохнула Лайма. — И ведь это правда?

— Такая же, как то, что я сижу перед тобой. Бог идеже хочет, побеждается естества чин.

— Не поняла.

— То, что противоречит законам природы, — приступил к главному пункту своего плана Виктор, — что немисливо для человека — возможно у Бога. Все дается по вере. Сестры Лазаря верили, что Господь воскресит их брата, и Он сделал это. Если ты будешь верить, что выздоровеешь...

— Как здорово, — не дослушала его Лайма. — Бог захотел — и ты приехал. Ведь так?

— Отчасти ты права, — сказал Виктор, — но я имел в виду...

— Добрый вечер, — сказал, входя в палату, Янис. — Или, как говорят в цивилизованной Прибалтике: lab vakar.

— Так говорят в ее латышском регионе, — уточнил Виктор.

— Абсолютно верно. — Янис сел у койки Лаймы. — Пожалуйте, ручку, —



он смешливо хмыкнул, — госпожа Огнева, измерим ваше давление. — Врач обмотал вокруг руки Лаймы черную прорезиненную матерку, нажимая оранжевую грушу, хмуро следил за показаниями манометра. — Отлично! — сказал он бодрым голосом, убирая прибор в карман халата. — Превосходно! Можешь сдавать нормы ГТО. Но не бойся, это тебе не грозит, ведь ГТО отменено в свободной Латвии.

— А разве свободной Латвии не нужны сильные и здоровые юноши и девушки? — спросил Виктор.

— Нужны, и даже очень, но как сказал один небезызвестный вам товарищ, мы пойдем другим путем.

Янис понюхал увядающий букет роз на тумбочке, посмотрел на иконы, стоявшие под ним.

— Самая дисциплинированная больная, — сказал он. — Чувствуется — армейская закалка. Ничего не просит, ни на что не жалуется.

— У меня же все есть, — улыбнулась Лайма.

— Да, а как ты посмотришь, если я это все у тебя ненадолго позаимствую?

— Ненадолго?

— Не более чем на час, клянусь Даугавой. Вы принимаете мое приглашение?

— А Лайма? — спросил Виктор.

— Я пошлю к ней сестру.

— Yanis, — что-то угадывая за наигранной веселостью врача, поманила его пальцем Лайма. Янис склонился над ней, Лайма вскинула руки (браслет шмыгнул по тощей руке от запястья до локтя), обняла его за шею, что-то бормоча на их родном языке.

Янис тихо, серьезно отвечал ей, но, бросив вбок взгляд на Виктора, громко сказал по-русски:

— Все будет в порядке, обещаю тебе. Я сегодня дежурный, стану заходить почаще.

## 14

Мимоходом встречаясь с Янисом в эти дни в больничном коридоре, Виктор примечал, что во всем суровом, волевом облике врача появилось что-то неуловимо дружелюбное. Виктор думал, что, быть может, он обманывает себя, выдает желаемое за действительное, но сейчас в палате это впечатление усилилось. Правда, настораживало балагурство врача — что за шуточки у одра смертельно больного человека!

В кабинете Янис убрал со стола папки с бумагами, повернул декоративное блюдо на стене — с перезвоном раскрылись дверцы зеркального изнутри бара. На стол последовали плоская фляжка коньяка, два блюда с бутербродами и ломтиками лимона, вазочка конфет.

— Присаживайся, — отбросив шутливость, сказал он Виктору, рассматривавшему фотопортрет военного. — Не против, что я на “ты”? Мы, можно сказать, товарищи по несчастью, а то и родственники, недаром же я над твоей головой ту штуку держал.

— Конечно, не против. Она венцом называется. — Виктор сел в памятное кресло у стола, взял налитую рюмку. — За что пьем?

— За что пьем... — Янис поднял рюмку и поставил ее. — Виктор, ты в самом деле глава фирмы?

— Да, — удивившись такому пируэту в разговоре, сказал Виктор. — Я тебе говорил уже. Крупной. Разумеется, по нашим меркам.

— Объясни тогда мне, — возбужденно заговорил Янис. — Я допускаю, что человек может знать Каспара Фридриха, быть выдержанным, верующим, из моральных соображений, в конце концов, жениться на неизлечимо больной, но в голове моей не уместается, что глава фирмы, который может нанять сиделку, не спит ночами. Объяснимо и это, но он еще помогает санитаркам, вплоть до того, что выносит из “уток”. Это тоже правда?

Виктор, покраснев, мотнул головой. Из “уток” он вынес один раз. Баба Настя, та здоровенная, как баскетболист, санитарка, приказала, ей самой недосуг было. А что ему оставалось делать: назвался груздем...

— Почему ты это делаешь?

— Отец у меня был инвалидом первой группы, я с детства привык за больным ухаживать. Да что тут такого? Господь сказал: “Кто хочет быть больше всех, будь всем слуга”.

— Красивые слова, — поводит указательным пальцем Янис. — Не знаю, что еще твой Господь говорит, но я насмотрелся, как люди родных своих бросают, только про рак услышат. На танке их сюда не притащишь.

— Царские дочери за ранеными в лазаретах ходили, если на то пошло, а нам, грешным, и Сам Бог велел.

— Какие дочери?

— Царя нашего последнего, Николая Александровича.

— Ну, уж если дочери, — развел руками Янис, явно порываясь что-то прибавить в этом духе, но осекся. — Итак, за что пьем?

— Ты хозяин. — Виктор, намеревавшийся встать и уйти, если Янис пошутит о Царских дочерях, снял руку с подлокотника кресла.

— Давай — за любовь! — сказал Янис.

— Тост неплохой, но абстрактный. Давай лучше — за болящую. За подружку нашу.

— За нее. В самый раз за нее пить, — голос Яниса дрогнул.

— А теперь вернемся к Фридриху, — посасывая ломтик лимона, сказал Виктор, — а то в тот раз, сдается мне, мы о нем не договорили.

— Кто старое помянет, тому глаз вон, — засмеялся Янис.

— А кто забудет — тому оба, между прочим. Не правда ли, удивительный художник?

— Великолепный! Гениальный! И малоизвестный, профессиональные художники не все его знают. Попалась мне на глаза его репродукция, я обмер, начал материалы о нем собирать и даже статейкой о нем в нашем художественном журнале разродился.

— Ишь ты! — восхитился Виктор. — Моя любимая его картина “Böhmische Landschaft”<sup>1</sup>.

— А мне нравится “Frau vor der untergehende Sonne”<sup>2</sup> и “Der Mönch am Meer”<sup>3</sup> — какая могучая панорама стихий! А “Лето”! — Янис вскинул взгляд. — Чистый Клод Лоррен. Эта парочка в шалаше — немецкие Акид и Галатея.

— Лоррен? Я бы не сказал. У него колорит нежней, теплее.

— Естественно, — загорячился Янис. — Лоррен — кужанин, а Фридрих — сын Германии туманной. Но чистота красок, этот свет, эта любовь ко всему сущему разве не роднят их?

Виктор смотрел на него с улыбкой и думал: “Мы оба так любим прекрасное, отчего же совсем недавно мы были почти врагами?”

— Все же, — сказал Виктор, когда Янис наливал по второй, — трогательно в ландшафте, что деревья тянутся друг к другу ветвями, как руками. Если бы я был художником, я написал бы картину, где они разделены не двумя саженьями пространства, а тысячами верст, но так же стремятся друг к другу. Для этого, очевидно, нужен живописец вроде Сикейроса или Риверы, изображавших глобальные события. Хотя едва ли они справились бы с такой задачей. Это же лирика.

— Если не трагедия. Не люблю я, признаться, ни того, ни другого. Они маляры в живописи, как Маяковский в поэзии. Тут нужна чуткая, тонкая, как скальпель хирурга, кисть миниатюриста.

— И какой хирург был, — сказал Виктор.

— Кто?

— Твое здоровье, — Виктор чокнулся с Янисом, прочитал:

*На севере диком стоит одиноко  
На голой вершине сосна.  
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим  
Одета, как ризой, она.*

<sup>1</sup> “Богемский ландшафт” (нем.).

<sup>2</sup> “Женщина перед заходящим солнцем” (нем.).

<sup>3</sup> “Монах на море” (нем.).

И так далее. В переводе искажен смысл, деревья женского рода — сосна и пальма. А в оригинале, у Гейне, пальма и кедр. Вот какого хирурга я имел в виду.

Они еще поговорили о Фридрихе, Виктор сказал, что любит латышскую живопись, а полотно Розенталя “Песня пастушки” просто считает шедевром.

— А где ты ее видел? — спросил Янис.

— В художественном музее. Когда наша рота стояла в Риге, в полку, я в увольнениях по музеям ходил, в Домском соборе бывал, в “Букинисте” меня узнавать начали, да нас сюда перевели.

Янис почесал в затылке, простодушно признался:

— Я думал, солдаты в увольнении только пьют.

— Не без этого, — посмеиваясь, сказал Виктор. — Но... имели место и поступки.

Сейчас, верно, был наиболее подходящий момент, чтобы завести более важный разговор.

— Скажи, пожалуйста, — после опасливых колебаний все же спросил Виктор. — Правда, что ты Лукичу в рот краску какую-то лил?

— Лукичу? — не сразу понял Янис. — А, Картавому? Да, свинцовые белила. Знаешь, в древности отъявленным негодяям заливали глотку расплавленным свинцом. А ты что, любишь его?

— За что его любить, интернационалиста проклятого. Однако дело не довели до конца. Его сбросили, а те трое, в шинелях на берегу Даугавы, стоят незыблемо.

— Вот ты о чем, — нахмурился Янис. — Эту тему я обсуждать отказываюсь. Не хочу ругаться с тобой.

— Отчего же ругаться? Именно теперь, когда мы с тобой почти друзья, когда мы видим, что у нас много общего, и нужно спокойно поговорить об этом. Ленин и те, в шинелях, делали одно дело — насаждали в России безбожную Совдепию. Ленина — долой, и по заслугам, а “рыцари революции” на пьедестале. Уточню, я не призываю к уничтожению памятников, к вандализму, моя точка зрения: если вы сказали “А”, то скажите и “Б”.

Виктор приготовился выложить Янису все, что услышал от священника и что знал сам, но Янис, почуяв, куда он клонит, нанес упреждающий удар.

— Знаешь, кто это? — Он показал на фотографию на стене. — Мой дядя по отцу. Подполковник латвийской армии.

— Из латышских стрелков?

— Из латышских! Но не из красных. Когда немцы в сентябре семнадцатого года наступали на Ригу, он взводом командовал в сражении при Маза-Югле. Он Родину свою, Мать-Латвию защищал. В Россию с красными стрелками не ушел, ландскнехтом у большевиков быть не пожелал, в гражданской войне не участвовал, ни в единой капле русской крови не повинен. В армии независимой Латвии дослужился до полковника, а в сороковом году был арестован. Его боевые соратники покоятся на Братском кладбище, им цветы каждый год возлагают, а где он сгинул — никому неизвестно. Может, зарыт на Колыме в яме, как собака. А на мне с братом с детства клеймо: родственник репрессированного.

— Нас замполит на Братское кладбище водил, когда я в школе сержантов учился, — сказал Виктор.

— И среди красных стрелков разные люди были, — наступал Янис. — Как ни относиться к усатому Фабрициусу, он погиб, а женщину с ребенком спас.

— Я о другом, — сопротивлялся Виктор. — Следует различать государство и конкретных людей. Совет народных депутатов, КПСС, НКВД — это одно, а русский народ — другое, зачем на него перекладывать вину государства? И нас ведь давили так же, как латышей. Так почему же русских в Латвии называют оккупантами? Вот наша Надя. Родилась после войны, никого не арестовывала, не убивала, прожила незаметную трудовую жизнь на пользу Латвии. Почему же ее сейчас унижают? В чем она виновата? Скажи, я похож на оккупанта?

— Ловко закручено, — ответил Янис. — А кто же государство — КПСС,

НКВД, образует? Призраки? Ладно, ты на оккупанта не похож, скорей наоборот, но натянут на тебя гимнастерку, повесят на плечо АКМ и прикажут, станешь ты бегать по латвийским лесам, как советские солдаты после войны?

— Дело солдатское, — подневольное. Но не солдаты виноваты, а кто приказ отдал. А твои земляки, только не с автоматами, а с винтовками, не бегали по России?

— Не смей меня. — Янис обнял Виктора за плечо. — Латвия оккупировала Россию, белочка взяла в плен медведя. Не анекдот?

— Нет, — отодвигая рюмку, вспыхнул Виктор. — Не анекдот. Старую армию разогнали, офицеров расстреляли или утопили в море, разместили в губернском городе полк в 900 штыков и арестовали всю губернию. Иди, протестуй, лезь с вилами и топором против винтовок и пулеметов.

— Я же предупреждал, что мы поругаемся. — Янис пальцем по сантиметру подталкивал рюмку по столу к Виктору. — Знаю я, с чьей это мельницы мука, что мы оккупировали Россию. Сражались мы с ним в командах КВН, когда он еще не был отцом Валерием, а учился на факультете истории. Прошу тебя, оставим это. Честно. Каждый из нас по-своему прав и не прав. — Янис широко улыбнулся, высоко поднял рюмку перед картиной Фридриха. — А! Хоть ты и против, выпьем за любовь!

— Я не против, — сломив в душе желание продолжать спор, сказал Виктор, хотя еще и не мог ответить Янису той же улыбкой. — За любовь, так за любовь.

Он повторил жест Яниса у картины и сказал:

— Тогда один вопрос. Я хочу увезти Лайму домой к себе. Что скажешь? Янис сел на кушетку под картиной, зажав рюмку в ладонях.

— Виктор Сергеевич. — Он поставил рюмку на кушетку, расплескав коньяк. — За день до твоего приезда она фактически умирала. Сердце остановилось, наблюдалось явление клинической смерти, сердце запускали дефибриллятором, прибор такой...

— Слышал я.

— ...Пять часов мы над ней бились. Каким-то чудом она выкарабкалась. Потом приехал ты, потом случилось то событие, после которого все показатели у нее кардинально улучшились: произошла эмоциональная встряска всего организма. Однако долго длиться это не могло. У нее с утра падает давление. Едва ли она переживет эту ночь. Поверь моему опыту. Она и сама это чувствует, она же сейчас прощалась со мной. Собственно, я для этого тебя сюда и позвал, чтоб предупредить, а у нас, видишь, какие дебаты тут развернулись.

## 15

Вечер этого дня прошел обычно. После работы наведался Вилис, они снова вспоминали его детство, смеясь над его мальчишескими проказами.

Ночью Лайма бредила, металась на постели, звала его, просила прийти Вилиса. Виктор говорил ей, что уже поздно, Вилиса не позвать. Лайма плакала, мешая русские слова с латышскими, ругала его негодяем, соблазнителем, гнала от себя. В краткие минуты просветления она улыбалась ему, что-то слабо шептала. Потом все начиналось сызнова.

Когда забрезжил рассвет и за окном проступили силуэты елок на больничном дворе, Лайма заснула. Слыша ее глубокое ровное дыхание, Виктор, ожидавший чуда, подумал, что оно произошло, она начнет поправляться.

Он раскрыл Псалтырь, губы зашевелились, произнося слова, а взгляд стал вязнуть в цепочках строк...

После отбоя Виктор убежал из казармы: они договорились с Лаймой пойти ночью купаться. Полная луна озаряла своим таинственным светом землю. Этой чудной сизовато-молочной белизной был высвечен каждый камешек на тропинке, каждая травинка на земле и иголки на соснах. Они бежали по сосновому бору, обвеваемые этим светом, как невидимым ветром. Открывшееся с крутого берега текучее зеркало реки отражало этот свет.

Вдалеке на быстрине сверкала рябь, а внизу под ними на гребешках волн играли лунные блики.

Теплая вода приняла их в свои объятия, и они, счастливо улыбаясь друг другу, поплыли. Лунные капли мерцали темным жемчугом на лбу и щеках Лаймы, могучая коса, уложенная на голове высокой башней, придавала ей вид древнеегипетской царевны.

И вся эта красота — и лунный свет, и коса, и смеющиеся губы — принадлежала ему.

На середине реки длинной грядой выступал остров, поросший ивняком. Лайма вышла из воды первой, протянула ему руку и — они слились в поцелуе. Взяв любимую на руки, он понес ее на остров.

Лайма повернула к нему перекошенное мукой лицо и сказала с укором: — Не спи!

Виктор проснулся как от удара. Лайма широко раскрытыми, горящими глазами смотрела на него, но взгляд простирался дальше, словно она что-то видела за ним.

— Лайма, — осторожно позвал он.

Она перевела на него укоротившийся взгляд.

— Витюша! — послышался свистящий шепот. — Умираю.

Виктор дакнул кнопку на стене.

— Не нужно никого, — сказала Лайма. — Письмо... под подушкой... там. Виленка, сынок. Виктор! — звучно вскрикнула она. — Что перед смертью говорить нужно?

— Господи Иисусе Христе, — ломающимся голосом начал Виктор.

— Господи Иисусе Христе, — тускло повторила Лайма, пальцы заскребли по одеялу, натягивая его на себя.

— Помилуй мя, грешную...

— Помилуй... — по лицу Лаймы скользнула тень, она потянулась, и улыбка застыла на ее губах.

В палату вбежали Янис, дежурная сестра.

Сдерживая слезы, Виктор поцеловал Лайму в лоб, в закрытые глаза, прикоснулся к бескровной полоске губ, приник головой к груди. Там, в загадочной глубине, затухающим шорохом прошелестело: тук... тук... и настала вечная тишина.

Янис сочувственно положил ему руку на плечо, вполголоса отдал распоряжение сестре.

Виктор не сводил глаз с неподвижного лица покойной. Еще минуту назад оно было страдающим, но живым. Если наполнить взгляд всей силой души, всем желанием сердца, смотреть упорно, ни на что не отвлекаясь, тогда вдруг мертвые веки вздрогнут, она откроет глаза и скажет: "Ничего, Витенька, не случилось, я просто спала".

Санитарка втолкнула в палату высокие носилки на колесиках.

— Отмучилась, красавица наша, — сказала она, подгоняя каталку ближе к койке.

— Не трогайте, я сам. — Виктор отстранил санитарку, было взявшую Лайму за ноги. Он поднял легкое тело жены (спина была еще теплой), укрыл с ног до головы простыней и сам повез из палаты.

— Виктор Сергеевич, — догнала его в коридоре санитарка. — Письмецо. Под подушкой лежало.

— Ах, да! — Виктор, поморщившись, сунул конверт во внутренний карман пиджака.

## 16

Облокотившись на перила моста, Виктор заворуженно следил, как, пенясь и закручиваясь скорыми вьюнками водоворотов, над песчаным, в солнечных разводах дном, над оглаженными камнями, пошевеливая на них бархатистую каемку зеленого подводного мха, мчалась прозрачно-стремительная лава воды. Морозное дыхание зимы отвердит ее верхний слой ледяной коркой, но подо льдом все равно будет скрытно струиться неукротимый поток, чтобы по весне, взломав временные оковы, вновь объявиться торжествующим и вечно живым. А сердце, охладевшее сегодня,

уже никогда не забьется вновь, травинка, придавленная темной плитой, не проколет ее острым шильцем, чтобы увидеть свет, хлебнуть упоительного воздуха жизни.

В больнице, у кабины лифта, куда он уже направил каталку с телом Лаймы, к нему подбежал запыхавшийся Вилис. Они отвезли тело в морг, с полученным в загсе свидетельством о смерти он отправился в похоронную мастерскую, потом в церковь.

Виктор поднял голову. От соснового бора на реку ложилась тень. Где-то там вьется тропинка, по которой они спускались с Лаймой. А вот и островок — зеленый кораблик в речном потоке.

Он вспомнил, как принесли телеграмму, как он читал ее, откладывал и вновь читал, думая: ехать — не ехать? И решился!

О, как он любил себя сейчас за тот стихийный сердечный порыв. Состарившись душой, привыкнув все обдумывать и расчетливо взвешивать, как рад он был узнать, что сохранилось в нем живое, горячее чувство, что он способен не только исполнять свои обязанности, быть руководителем, авторитетным человеком в городе, но быть любящим человеком, жить жизнью души.

Однако при чем здесь ты? К чему пыжиться и гордиться, превозноситься перед самим собой? Если быть честным до конца, это любовь Лаймы, жертвенная, предвечно святая сила ее любви привела тебя сюда. Как магнит притягивает косное, мертвое железо, так эта сила потянула, выдернула тебя из привычного круга бытия. Сила ее любви хранила тебя в дороге от аварии, от сна за рулем, от бандитского налета, от придинок гаишников. С тобой ничего не могло случиться, потому что она, борясь со смертью, ждала тебя. Эта сила укротила твою гордыню, научила тебя, как должно вести себя с Янисом, она погасила тот ужасный запах, проклятие раковых больных, от которого тебя чуть не вырвало в первый раз.

Виктор смахнул с ресниц наворачнувшуюся слезу. Дождевой каплей она полетела вниз, соединившись с потоком.

Вечерело. Куда-то нужно идти. Но куда? Вилис звал его к себе, сказал адрес, а он тут же забыл его. Тогда один путь — через весь город в Муйжу.

На мост зашла компания подгулявших парней. Виктор прижался к перилам, пропуская их. Ему что-то сказали. Видимо, попросили закурить.

— Простите, не понимаю, — сказал он.

— Ха, Рус-Иван! — завопил один из парней. Радостно-злобный восторг бежал по их лицам.

Переживания дня поселили в душе какую-то притупленность, отстраненность от происходящего, и сознавая опасность, Виктор не хотел противостоять им. Да и что он мог сделать? Драться — безнадежно, убежать — не привык он. Будь на нем солдатский ремень с бляхой, да верни ему те годы, он показал бы им Рус-Ивана. Но не хотелось ему сегодня ни с кем драться, ни от кого убежать, а только быть одному. Господи, помилуй.

Парни обступили его. Матерятся-то они, действительно, по-русски.

— Попался, оккупант!

— Чего молчишь? Язык отнялся?

— Он в штаны от страха наложил. — Парни загоготали.

— Сейчас ты у нас запоешь. — Один из парней протянул руку, чтобы схватить его за галстук.

Виктор закрыл галстук ладонью, зная, что если он попробует отвести руку парня, все сразу набросятся на него.

На мосту взвизгнули тормоза машины, и спасительно знакомый голос что-то повелительно крикнул. Парни отпрянули и расступились. Из окошка машины выглядывал Янис. Еще окрик, и парни, трусливо хихикая, припустили прочь.

— Гляжу, соколы мои кого-то клевать собрались, — шутил Янис. — Русского орла. Садись, подкину.

— Нет, я лучше пешком. Прости.

Виктор пошел в Муйжу не обычным путем возле школы, а свернул в переулок. За домами вскоре открылось широкое поле с прудом. Слева стеной темнел лес, справа, вдали за деревьями — Муйжа.

В лавчонке возле универсама он купил бутылку сухого вина. Запекшаяся, горчившая преграда стала поперек груди, невыплаканные слезы теснили

душу. Сев в поле под березкой, он сорвал пробку, сделал несколько глотков и отшвырнул бутылку.

Она любила тебя так, как не любят все вместе взятые твои друзья и подружки. Любовь ее можно было сравнить лишь с любовью матери. Но эти любви различны, мать любит ребенка природной любовью, задолго до его появления на свет, а она полюбила тебя взрослого, испорченного всеобщим восхищением баловня судьбы, полюбила со всеми твоими прихотями, хорошими и дурными привычками. Она воспитала своего сына в любви к тебе, бросившему ее мужчине, которому она, гордая девушка, подарила в ту волшебную ночь свою невинность и чистоту. Она осталась верна тебе одному, не терзаясь сомнениями, верен ли ей ты.

И ни слова упрека, осуждения. Лишь неизбывная предсмертная тоска исторгла из души ее умоляющий вопль о последнем свидании перед вечной разлукой.

Виктор упал на землю, по которой ходили ее ноги, целовал ее и плакал.

Солнце село. В небе искоркой зажглась первая звездочка. Ночным полем он подошел к дому Лаймы, посидел на скамье. За сарайками в траве белел жернов, и в прохладе ночи хранивший тепло отошедшего дня. Что-то зацепило Виктора за ногу. Он пошарил в траве — нижний обруч на жернове лопнул.

В проходе меж сараек выросла чья-то фигура.

— Кто здесь? — спросила она голосом Вилиса.

Виктор встал с жернова.

— Сынок, это я.

— Отец!

Они обнялись, каждый по-своему переживал эти долгожданные, высказанные наконец-то вслух слова.

## 17

Рано утром он выкроил время, чтобы навестить казарму, где некогда размещалась их лихая вторая рота. Это было рядом с домом Лаймы, за поворотом дороги.

На месте деревянного, оштукатуренного двухэтажного дома, где они жили, возведена кирпичная казарма. Только что сыграли подъем. На дворе, обнесенном невысоким штакетным забором, строились голые по пояс солдаты, командовали сержанты. Перекладина и брусья, на которых он любил заниматься, перенесены на другую сторону двора. Несмотря на новизну, все было близким, родным и вместе с тем далеким и чужим. Смерть Лаймы ослабила армейские воспоминания, и все же было жаль, что никто не крикнет ему: "Эй, Витек!", и лишь один он знает, какая неповторимая жизнь бурлила здесь четверть века назад. Караульная, строевая, с ожиданием писем из дома, с песнями. Да, сколько раз они шли по этой дороге в клуб и пели:

*Эх, Россия, любимая земля, земля.  
Родные березки да поля, поля.  
Как дорога ты для солдата,  
Родная русская земля.*

И никому эти слова не казались странными, все чувствовали себя дома и в самом деле все было вокруг своим: и край, и люди.

Что же изменилось с той поры? Латыши остались латышами, а русские русскими. Зачем же, кем сеются семена зла, которые прорастают ненавистью и враждой? Зачем, кому нужно, чтобы мы жили не в любви?

Встретив на вокзале приехавшую из Даугавпилса старшую сестру Лаймы, Виктор с сыном поехали на хутор под Смилтене за престарелой тетей Лаймы, у которой она в детстве проводила каждое лето.

В пути Виктор рассказывал о своей солдатской службе, о разных комичных приключениях, о командире роты капитане Некрасове, шутнике и выдумщике, которого любили солдаты. Много говорили о Лайме, о Янисе.

Безнадежных раковых больных выписывают умирать домой, а Янис держал Лайму в больнице до последнего дня, здесь и уход, и обезболивающие уколы. Он помогал им, когда Вилис был маленьким, давал денег на одежду, устраивал Вилиса в санаторий.

Не доезжая до Смиттене, они свернули в сторону проселка.

— Отец, — попросил Вилис смущенно: это слово было еще непривычно ему, — разреши повести машину.

Они поменялись местами. Пыльная дорога сбегала под горку, взбиралась на холм, петляла по лесу.

— Хороша штучка, — с удовольствием крутя баранку, говорил Вилис. — Идет легко.

— Заведи такую, — улыбнулся Виктор.

— Заведешь с моей зарплатой. Концы еле-еле сводим.

— А куда б ты на ней ездить стал? — любясь сыном, спрашивал Виктор.

— Нашлось бы куда! — мечтательно воскликнул Вилис. — За грибами, за ягодами. Мать чернику любила, я каждую осень на болото ходил, это километров десять от нас. А рыбалка! Я такие места вверх по течению знаю, закачаешься!

— Детишек на природу вывезти, когда подрастут, — подсказал Виктор.

С тетей Лаймы они вернулись в В. и заехали — время еще было — в нотариальную контору, где Виктор оформил на Вилиса дарственную на машину. Вилис огорошенно молчал, пока нотариус заполняла документы, и потом, уже на крыльце конторы долго не мог поверить, что это не шутка, это взаправду.

— Может, ты думаешь, — тормозил сына Виктор, — я тебе дарю ржавую консервную банку? Машинка — новье, сорок тысяч пробега.

Вилис растерянно улыбался.

— Все же я надеюсь услышать от тебя хотя бы спасибо, — посмеивался Виктор.

— Спасибо, отец, спасибо.

— Paldies<sup>1</sup>, не так ли?

— Paldies, ja, ja.

— Прости меня, дорогой мой, — обняв сына за плечи, говорил Виктор, — прости, что ты вырос без отца. Мне грустно говорить это, понимая, что исправить ничего нельзя. Книжки, прочитанные с отцом в детстве, походы в лес, на рыбалку — этого не купить за деньги, а отцовская ласка дорожке всякой “Нивы” и прочих безделушек. Поэтому прими от меня этот подарок и прости, если можешь.

— Я ни в чем не виню тебя, отец, — не поднимая глаз, отвечал Вилис. — Если бы ты скрывался от семьи, бросил меня, мать. Какая, в чем твоя вина? А если она и есть, кто дал мне право судить тебя? Мать всегда говорила мне о тебе только хорошее, и я любил тебя, не зная тебя. А теперь, после всего, я люблю тебя еще сильнее.

## 18

В день похорон гроб с телом Лаймы занесли в церковь. После Литургии, на которой с благословения отца Валерия Виктор со старушками пел на клиросе, после молебна началось отпевание.

...На другой день Виктор уезжал. Раздав все деньги (в церковь, Вилису, Наде), оставив себе только на билет, он с Вилисом, сестрой Лаймы, Алидой и Надей съездил на кладбище.

Могила Лаймы утопала в цветах и венках, так что надгробный крест почти был не виден под ними. Цветы стояли в банках, торчали воткнутые в рыхлую могильную землю, лежали среди венков. Вот все и закончилось. Теперь он не увидит ее ни живой, ни мертвой. Если только она навестит его во сне.

На обратном пути Виктор вышел у больницы, попросив сына, когда тот развезет всех, подъехать сюда.

<sup>1</sup> Спасибо (латышск.).



Яниса в кабинете не было. Виктор присел в коридоре на скамейку. Проходившие санитарки и сестры здоровались с ним. Привыкли, считают за своего.

— Уезжаешь, — как всегда с места в карьер начал разговор появившийся Янис.

— Да, зашел проститься.

— Когда снова к нам? — Янис пропустил его вперед себя в кабинет. — Садись.

— Я на минутку, Вилис сейчас приедет.

— На минутку нечего и заходить. Это что, форма утонченного издевательства? — Янис раскрыл бар, разлил из недопитой тогда бутылки. — Помянем еще раз нашу подружку. Пусть ей земля будет пухом. Когда снова к нам, я спрашиваю?

Виктор принял рюмку.

— Постараюсь на сороковой день. Правда, ходят слухи, что границу закроют скоро. Может, я из последних, кому удалось нормально, по-старому проехать.

— Приедешь нормально по визе.

— Грустно в родимые места по визе приезжать.

Виктор подошел к окну. У больничных ворот остановилась его бывшая “Нива”.

— Эту на дорожку, — снова наполнил рюмки Янис.

— Ты спойшь меня. Я так часто не пью.

— Откуда такие трезвенники на русской земле объявились? Ты позоришь звание русского человека, — засмеялся Янис, выпил и сказал: — Виктор, я хочу у тебя спросить.

К Виктору в кабинет приходило столько просителей (тому на издание книги, тому на лечение и т. п.), что он безошибочно угадал, что последует дальше.

— Помнишь... тогда, — почти детская улыбка на лице Яниса говорила, что просить он не привык, — в общем, ты обещал помочь нам, больнице.

— Я и сейчас не отказываюсь, — сказал Виктор. — Что нужно?

— Понимаешь, больнице позарез нужен томограф. Штука в диагностике незаменимая. Деньги на него мне давно обещают...

— Сколько надо?

— Много, тысячу “зеленых”.

— Не так уж много. Да наличных-то у меня кот наплакал, истратился я. — Виктор достал чековую книжку, задумался. — У тебя не будет неприятностей, что от “оккупанта” деньги берешь? Не обижайся. Я не шучу.

— Да плевать я хотел. Мне людей лечить надо.

— Нет, все-таки. Я не хочу, чтобы у тебя из-за меня были какие-либо неурядицы. — Виктор убрал книжку в карман. — Сделаем так. В Вильнюсе у меня есть знакомый бизнесмен. Знакомы мы заочно, по делам. Я черкну ему записку, по которой он выдаст тебе деньги как благотворительную помощь, а мы ему потом их возместим кружным путем, через... ну не будем вникать в детали. Ты со всех сторон будешь чист.

Виктор глянул за окно. Стоявший у крыльца Вилис, увидав его, потюкал пальцем по часам: опоздаем.

— Ну, прощай! — сказал он, подавая руку Янису.

— До свидания. Laimigu ceļu! Счастливого пути! — ответил ему дружеским рукопожатием Янис.

Виктор обвел комнату взглядом. Ничего не изменилось в ней, те же шкафы и стулья, молодые влюбленные на картине так же наслаждаются своим вечным счастьем, но военный в строгой рамочке смотрел на него как будто теплее. Мог ли мечтать он об этом в первое посещение кабинета.

Транзитные поезда не останавливались в В. Чтобы сесть на поезд, нужно ехать до пограничного с Латвией эстонского городка.

Вилис уверенно вел машину по автотрассе. “Нива” попала в заботливые,

хозяйские руки. Вчера после поминок Вилис отвез тетю Лаймы обратно на хутор, в лесу попал под дождь, застрял, вернулся за полночь на заляпанной грязью машине, а сегодня она блестит как стеклышко.

Они ходили по перрону, каждый думая о своем.

По радио объявили о приходе поезда.

— Ах, Господи, — Виктор хлопнул себя по лбу, — совсем забыл, — и побежал к машине.

— Что, отец? — спросил Вилис.

— Кассета магнитофонная. Я никогда не расстанусь с ней. Привычка глупая, но что делать. Присмотри за сумкой.

Впопыхах Виктор нажал не на ту клавишу. Заиграл оркестр, и Личия Альбанези, несравненная Виолетта, пропела голосом молодой Лаймы:

— O gioja!<sup>1</sup>

Спазм сдвинул горло, и рыдания, душившие его на кладбище и на поминках, которым он при всех не мог дать воли, хлынули на свободу. Еще пели Аннина, Альфред и Жермон, звучали заключительные аккорды, а он не мог удержать рвавшийся из груди поток горя. Как же, почему он забыл записать голос Лаймы? Пусть слабый, больной, но живой. Опять, опять он думал только о себе.

— Отец, — говорил подбежавший Вилис. — Поезд стоит пять минут. Опоздаешь.

— Иду, родной мой, иду, — поднимаясь с сиденья и утирая слезы, говорил Виктор, вынул кассету и, крепко обняв сына, пошел к вагону.

### *Письмо Лаймы*

*Дорогой Витенька! Я любила тебя всю жизнь и не ошиблась в своей любви. И с этой радостью я умираю. Ты приехал, ты бросил все. Ты принес мне величайшее счастье и покой. После венчания с тобой я первую ночь за эти мучительные месяцы спала спокойно, без уколов и таблеток. Я снова была молодой, мной, красивой и здоровой, как помнишь — в ту ночь, когда была яркая луна и мы плавали с тобой в реке. Ты помнишь, конечно, эту ночь. Многие забываются в жизни и многое помнится людьми порознь, но есть и общие воспоминания. Я крепко спала всю ночь, мне снился ты, мне снился свет и какая-то церковь, в которой мы стоим вдвоем, хотя я никогда не была в церкви и впервые разговаривала с попом, которого ты привел в больницу. Какой ты умный и добрый! Ты веришь в Бога, и я завидую тебе. Мне осталось жить так мало, чтоб успеть поверить в Него, как веришь ты. Ты и среди ребят в роте, и среди всех моих друзей был не таким, как все. Видимо, поэтому я и полюбила тебя. Проснувшись, я почувствовала в себе столько сил, что захотела написать тебе это письмо. Потому что силы эти ненадолго, и я боюсь, что когда ты придешь, я, может, и слова тебе не смогу сказать. Мне было страшно умирать еще три дня назад. Как ни мучили боли, как ни болели пролежни, как ни гадок запах от моего тела, мне все равно хотелось жить. Я и сейчас хочу жить, но теперь я не боюсь умереть. Зачем бояться смерти, когда ты любишь и когда тебя любят? Так получается, что все мое письмо о любви. Но о чем же еще писать мне? Думая о тебе, я хотела когда-нибудь рассказать тебе всю мою жизнь, но сейчас это не нужно. Я рада, что у Вилиса, моего золотого мальчугана, есть наконец-то отец. Прощай, мой милый муж. Хоть несколько дней я была твоей женой. Помни и молись обо мне.*

*Твоя Л.*

---

<sup>1</sup> О, радости (итал.)

**В г. Собинке Владимирской области ведется строительство храма в честь иконы Божией Матери Державной.**

**Необычность собинского храма в том, что весь интерьер его будет строго выдержан в художественных традициях XVI века, а иконы уникального трехъярусного резного иконостаса выполнены в стиле московской рублевской школы.**

**Державная икона Божией Матери чудесно и таинственно явила Себя русскому православному народу 2/15 марта 1917 года.**

**В трагичнейшие дни русской истории Владычица приняла на Себя преемство власти державы Российской.**

**Символ этой иконы ясен для духовных очей — через неисчислимые страдания, кровь и слезы, после покаяния русский народ будет прощен, и царская власть, сохраненная Самой Царицей Небесной, будет России несомненно возвращена.**

**Пресвятая Богородице, спаси нас!**

*За осознанием грехов прошлого и покаянием приходит время собирать камни...*

*Вот и в Собинке начинается строительство нового Храма.*

*Кто-нибудь скажет: до того ли сейчас, не слишком ли много проблем вокруг? Но потому и обрушились на нас испытания и скорби, что мы стали забывать о Боге, отчуждаться Православия, возлюбили тленные и лукавые блага суетного мира сего, тогда как только дух животворит (Ин, 6, 63).*

*Нет жизни без Бога, нет спасения вне церкви.*

*Строительство храма в Собинке должно стать тем великим и святым делом, что объединит людей в деле спасения, возрождения духовной мощи и величия нашего Православного Отечества.*

*Господь да благословит вас.*

**ЕВЛОГИЙ,**  
*Архиепископ Владимирский и Суздальский*

*...Святая Русь еще возродится. Мы соберемся под благодатным покровом Русского Православия, под святым омофором Державной Владычицы нашей. и не будет в мире еилы, способной одолеть наше соборное единство.*

*Со смирением и молитвой, с верой и упованием пойдем мы к этой прекрасной цели.*

*Мы будем строить будущее наших детей и внуков. Мы будем строить наши души. Мы будем строить наш Храм.*

*И мы построим его. С нами Бог!*

**Священник АЛЕКСИЙ,**  
*настоятель Собинского прихода*

*Имена всех жертвователей храма будут внесены в церковные книги для вечного благодарного поминовения и запечатлены на мраморных мемориальных досках, размещенных на стенах цокольного этажа.*

**Наши реквизиты:**

**Собинское отделение Сбербанка 2488,  
Спец. р/с № 40703810210140100043  
Кор. счет № 30101810100000000612  
БИК 041724612, ИНН 3309004750**